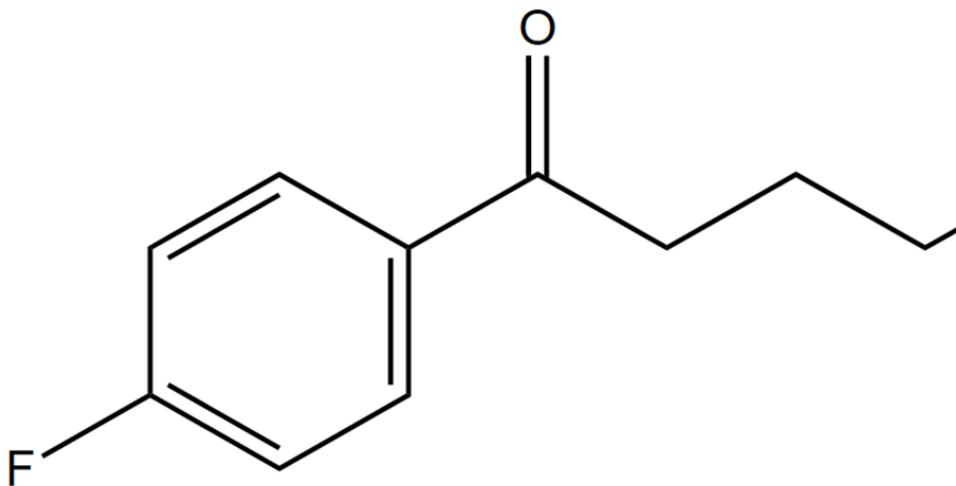


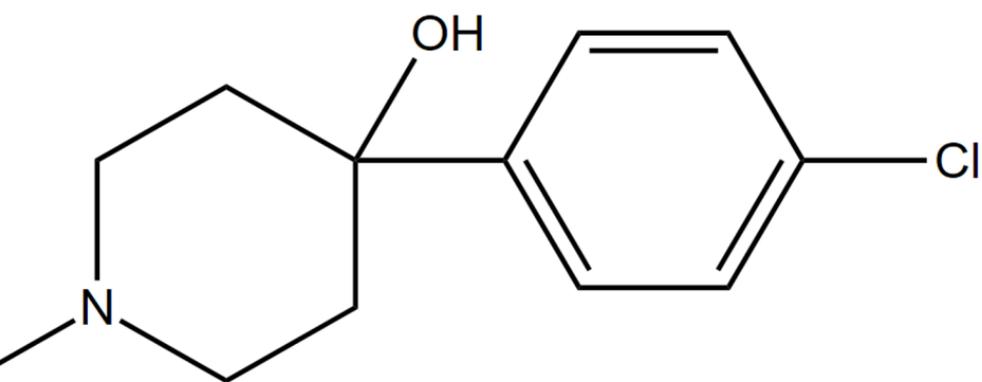
Новости Брайля

М.ГРИМ



ст. Ока
Тридцатое февраля
2024/2025



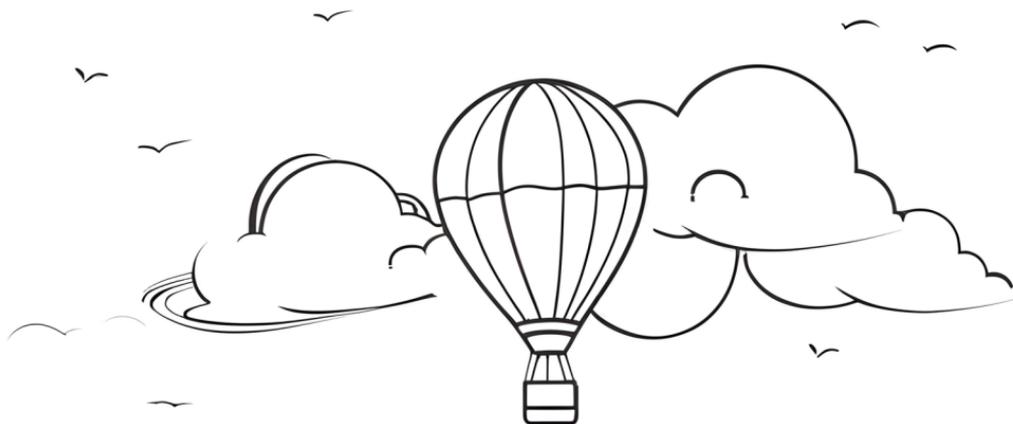


$C_{21}H_{23}ClFNO_2$



Новости Брайля

*Рóман М.Грима
для чтения вслух
с 16 января по 22 марта
при совместном сидении взаперти,
изданный Исуповым*



ст. Ока
Тридцатое февраля
2024/2025



М.Грим

Новости Брайля. Роман с нотами и парой химформул для чтения вслух с 16 января по 22 марта при совместном сидении взаперти. — Ст. Ока: 30 февраля, ispv.ru, 2024/2025. — 256 с. (илл.). Некоммерческое электронное издание.

«Оэм», первая аудиоглавка романа (автор настаивает на этом специфическом слове [покопайтесь в литературе, не полнитесь] и, кажется, имеет на это все основания), пришла по электронной почте ближе к концу января-24. Следом был прислан наговорённый «Преувеличенный лёд», ещё через день — «Ошадэ». Понравилось; попросили ни в коем случае не останавливаться; с удовольствием дали добро на использование стихов... М.Грим ответил не сразу, а, ответив, ничего не обещал: «Как получится... Буду стараться, но от меня тут мало что зависит, а хорошие люди сегодня хорошие, а завтра... Знать же вы должны лишь то, что “Оэма” я прочитал 16 января, стало быть, это день рождения романа. Даты “чтений” буду прикладывать... Читаю, сделав накануне наброски, безо всякого плана (импровизирую? — вроде того, просто одни сочиняют на бумаге, а я на спёртом воздухе); заметки и названия главок позволяют держать общую канву в голове, но выруливаю всё равно живую. Тем интереснее и... непредсказуемей. Что сказано — то и роман. Надеюсь, всё получится...» Да, вот как, оказывается, нынче бывает! Последняя штуковина, «2042», датирована 22-м марта. Конец романа. А мы только разохотились :-). (Ждать ли новых романов? — бог весть.)

Спасибо :(родине за неожиданный подарок. Спасибо Playground AI за обложки. Спасибо Bitstream Inc. за гарнитуру *Baskerville Win95BT*, а Alexandra Korolkova, Olga Umpeleva, Vladimir Yefimov и студии ParaType — за шрифты PT Serif и PT Sans Narrow.

© М.Грим, роман (роман), 2024

© Изд-во «30 февраля», ispv.ru, 2024 /2025

Ну хорошо, мне восемнадцать,
и льют дожди, и снег идёт,
но даже летом будет клацать
теперь и впредь дни напролёт
геологическими днями
один какой-нибудь затвор
других визгливее, и щами
пропахнет эра, а на спор
протухнет вслед за ней эпоха
стаканом водки, ибо чем
ещё заест своё «неплохо
день тянется, жона»; затем
начнут припахивать пельмени,
потом и их неважно
пить будет, и опять из тени
щи выйдут с просьбой наряду
«сейчас, жона, всегда расстрелы,
и после них в щах ничего
нет лучше ложки». Угорелый
ружейный бой. И существо
не спит, посасывая смыслы:
«Покойник — сволочь. Кто его
просил лишать нас даже грызла, —
всё живо, но уже мертво...»

Оэм

Один мальчик умеет вызывать дождь даже без гаечных ключей.

Дождь, увы, вызывается раз в календарный день и только в дорогом сердцу одного мальчика помещении.

В дорогом сердцу помещении по имени школа один мальчик просидел допоздна: сначала четыре класса как мальчик, а потом, став одним мальчиком, по четыре раза в каждом классе.

А одним мальчиком один мальчик стал, впервые вызвав дождь.

Выпустившись из дорогой школы, один мальчик недоумевал: для фронта уже староват, и фронт не помещение, хотя и театр.

И тогда один мальчик, которого впредь будем называть Оэм, дал объявление в газете «Газета за прошлый вечер» в разделе «Могу попробовать»: «...вызвать дождь в любом помещении. В дорогой школе это получалось в любой календарный день. Дождь выходил замечательным: апрельским и шалым. Хотите (простите за слоган) до нитки, а все бумаги на выброс? — см. название раздела. А о вспоможении не волнуйтесь, ибо договоримся, ибо, если прольётся, и несколько куриных яиц — уже Новый год, только бы вы улыбались, ибо дождь попустительствует добрым нравам».

Оэм красив: пухлый, но в разумную ботеро-меру; лысоватый, но в строгую меру модельных портретов в парикмахерской; профиль — монетный; губы — чувственные

(одна школьная девочка однажды впиалась в них губами безо всякой причины, и с тех пор не шла из головы); носит кавалерийские усы, дождевик (который он сбрасывает в самые проливные минуты, ибо мешает танцевать), галифе (в которых он иногда творит дождь, и дождь всегда делается шалым: хлётким, порой горизонтальным, заставлявшим младенчески хихикать), купленные мамой настоящие галоши на голую ногу отечественного размера; на коне, который катает людей в ПКиО за копеечку, Оэм неотразим, словно доказательство самой изощрённой теоремы.

Его окружает природа: умные вóроны над дважды пшеничным полем (мурмурируя, птицы вьют в небе универсальное предупреждение на все случаи мечтательной жизни, а само поле манит); дождь снаружи не донимал его ни разу после выпуска из начальной школы; волны морей нежно тычутся в его галоши.

Отношения Оэм завязывает просто: приходят соседи снизу и бьют по лицу, а Оэм их прощает; врачи откачивают, и он в них верит; медсестры подкармливают, и Оэм в них влюбляется; санитары, напившись, забывают о галоперидоле, и он химическим карандашом рисует их профили на туалетных «Вечёрках», и они говорят: «One more Tolik» и звонят по межгороду коллекционерам и в галереи, а ему наливают; учительницы подтягивают перед ним чулки, а он отворачивается; менты заматывают его голову в целлофан, а Оэм, отдышавшись, проигрывает ментовским детям, когда те приходят в ИВС сразиться с ним в скраббл; Скуратов-Бельский в мавзолее, и тот вытирает слёзы и ласково подмигивает, видя Оэма (Оэм, хороший мой, что ты забыл в склепе?).

Самолётами Оэм не летает: «Мокрый аэроплан, аэроплан-аквариум с мёртвыми рыбами с курортов родины, — зачем нам это?» — спрашивает у него первый пилот, а стюардессы просят задрать рубашку, чтобы записать свои настоящие домашние телефоны.

С поездами проще, а на дрезине через всё ночное отечество — «и вовсе детская легкотня, а обратно — на пароходу, которому любая вода — мамочка, дорогая, единственная». Впрочем, мечты.

Зато снятся ему одни крылья: проснувшись, он лепит их из пластилина, выкраивает из ватмана, клеит из бумерангов, но, чтобы взвиться, выше пятого этажа не забирается: в лифт его не пускают, а на костылях по лестнице не поскачешь; потом ноги, конечно, срастаются, но стюардессы живут в одноэтажных чертогах с бассейнами.

Попасть на сцену, а со сцены в сериал просто: объявление Оэма в «Газете за прошлый вечер» прочитали люди; люди убедили Оэма в том, что тюрьма ему дорогá; Оэм угодил в тюрьму и пролил безумный тропический дождь с каким-то женским именем, который смыл все следы.

Дело было так: один настоящий человек не вылезал из ШИЗО, где над ним нечеловечески издевались, и это сделало тюрьму дорогой сердцу Оэма, который проник в неё, публично плюнув в суп мента. Грозясь гильотиной, менты подвесили Оэма вниз головой и доставили на самую верхотуру с помощью блока для подъёма пытаемых на дыбе.

Тут-то Оэм и вызвал дождь, который хлестал три полярных дня и четыре белых ночи; эков и арестантов лениво эвакуировали, и они всякий раз лениво бежали на перегоне Тюрьма — Колыма, всякий раз вгоняя в могилу конвой и паровозную бригаду, и всякий раз это случалось около яблонного леса, в котором легко затеряться и вкусно выживать.

На следующий год настоящего человека взяли в ТЮЗ, и он поставил по этой истории пьесу, одного из героев которой зовут Недоумок Ливня. Это Оэм. А «Нетфликс», не будь недоумок, купил права. Вы наверняка смотрели все три сезона «Ноги под дождём», забыв о сне и бутербродах.

Одержимостьли это (плевать в суп, чтобы спасти настоящего человека)? — нет: «так требует простая справедливость», как

говорила мама, прекрасно, впрочем, понимая, что жить с этим не ей, а Оэму, руки которого, повинувшись этому требовательному чувству, сами собой тянутся к глоткам ментов, что выделяет Оэма из толпы: и правая, и левая в иные дни, когда Оэм не следит за собой, болтаются на уровне камбаловидной мышцы; выглядит не очень, но один из Брейгелей оценил бы.

«Нетфликс» подсуропил: заказчики повалили: старшеклассница Мария Кирилловна Т. умолила вызволить из «Матросской тишины» с помощью ситничка «ненаглядного и любимого»: грабителяпельменных на автозаправках Владимира Андреевича Д. Удалось. Сидевшие с Володькой урки, которым больше некого было насиловать, обратились на ментов, а их Оэму не жалко. Вот отчего даже «М. тишина» так дорога (хотя, конечно, сначала любовь: она тронула Оэма). И т. д. И понеслось.

Наполнение Аральского моря с помощью затопления окрестных домов (по трубам, по трубам!). Катки, всюду катки. Пруды, всюду пруды. Уничтожение вздорных уголовных дел и плохих отметок. Сногшибательные бассейны в подвалах пятиэтажек. Утопление нелюдей (ну а что?). Спасение Человеков от жажды. Господи, столько всего чистого, сердечного, детского.

Сначала неправдоподобно мокреет воздух; сырь подскакивает в один миг: гончарная глина на галошах лоснится так, что Оэм не сдерживается: снимает её и начинает лепить стойких неоловянных солдатиков, конный взвод с галоши и артиллерийскую роту с левой. Ах, если бы под рукой была печь... Потом воздух сгущается ещё сильнее, и необожжённые, увы, солдатики, увы, текут. Жалко. Звучит глупо, но в четырёх стенах поднимается ветер, а за окном грохочет. Затем стихает. И сколько бы раз вы ни включали секундомер, дождь всегда неожидан: тут же; через минуту тридцать; на следующий день в это же время... С той силой и продолжительностью, которые нужны. Потоп с манной — так потоп с манной; грибной — так грибной.

.
И ничего такого Оэм не делает: стоит как идиот и карзубо улыбается.

А инструкций не оставляет. И пишит с ашыпками. И мыслит, как пятилетний.

Господи, ну как же так.

.
Менты выбили.

.
А плату просит простую: улыбаться, почувствовав счастье. Поэтому должен быть мёртвым и сухим, да, сволочи?

.
Не делал, стоял, улыбался, не оставил, писал, мыслил.

Господи, как же так.

.
Отит, отит, отит, плеврит с осложнениями, порок сердца, сбивает машина, менты, хроническая клиническая смерть. Хроническая. Клиническая. Смерть.

Всякий раз после дождя Оэм заболевает, заболевает, заболевает, заболевает очень серьёзно, и вот он уже сердечник, попадает под машину, избивают менты, избивают менты, избивают менты, первая клиническая смерть, вторая клиническая смерть, третья клиническая смерть, энная клиническая смерть. Смерть.

Каждый, гм, календарный, чёрт, день? Он старался.

А мы не уберегли.

.
Стала ли другой идея Его Дождя после его смерти? Ещё чего: это же не повод не любить и не творить дождь. Любовь и Творение. Они навсегда.

.
Уже рассказывают, что кто-то где-то научился, умеет с рождения.

Хорошо!

.
И: дети, на днях родятся его дети!

Медсестра. Столько лет разницы. Зато настоящее.

Стюардесса. Столько лет разницы. А отважилась.

Любовь.

Вот-вот!

Трам-пам-пам-пам! Трам-пам-пам-пам!!

Господи, спасибо.

.

Его последние слова: «Сдохнуть после энной клинической — в радость».

.

Не уберегли.

.

«В радость».

Преувеличенный лёд

Параноиком становишься на счёт «семь, й»: некто, выйдя из тени, завязывает шнурок и несётся за тобой шаг в шаг на твоей конской скорости несколько долгих сотен метров, заскакивает за тобой в домовую дверь, а потом и в почему-то раскрытый лифт. Нет; вышел на третьем, промычав: «Вот только дождя, сука, не». Я даже не посмотрел на него: зачем знать убийцу в лицо?

Законное конституционное право утопить лифт в дожде нарушает камера, которой кланяюсь. Достаяю красное, стакан, наливаю, глотаю, проглатываю второй стакан и половину третьего. Я дома. Бутылка колотится в мусорной трубе.

Когда стаканы, попав в кровь, хорошим кролем заплывают далеко за буйки, я стою у окна. Внизу радостно: пионеры наливают всякому, кто съехал на ногах с ледяной горки.

Хочу.

.

«Влезть на помост, облитый блеском, — кричу пионерам, — Упасть с размаху животом На санки плоские — и с треском По голубому...» А потом съезжаю по ломко блещущему

преувеличенному льду, падая, падая, падая. Упавших пионеры раздирают на части: отрывают от пальто рукава, воротник, пуговицы — и гонят прочь. А меня не трогают: я в тапочках, трениках, майке, старый и в крови. А мне наливают, ибо однажды у меня получается. И снова красное: по-летнему тёплое, из-за пазухи, пахнущее детством.

Когда звонит телефон, я стою у окна: пионеры внизу отрывают от пальто на даме правый рукав.

— Это вы?

— Наверное.

— Это вы: язык-то заплетается.

— Это навет: в «наверное» не заплетёшься, негде.

— Ну вот же, заплетается... Поздравляю: вас заказали.

— А я их закажу.

— Перестаньте.

— Чё те надо, мужик?

— Завтра они придут с обыском; найдут в компьютере крамолу или срамное; вас забреют.

— А годков-то мне сколько?

— А они и паспорт новый принесут: с призывными «годками».

— Это плохо.

— Это правда. Суегиться глупо, а спрятаться — нет.

— И что тому причиной?

— Так пишете же.

— Пишу.

— И дождите.

— А вы кто?

— В пальто с оторванными рукавами. Одна слабоумная с вокодированным прокуренным профундо.

Пионеры внизу отрывают от дамы второй рукав. Мимо гуськом идут трое заиндевевших индийцев. Хочется обогреть их. Я выбегаю на улицу, догоняю ледышек и даю каждой по бутылке красного: «Выпейте за меня, французики». Вьюжит безбожно.

·
Не открывать дверь — суета, не писать — томление духа, не дождить — и это суета. Нет пользы от *не* под русским солнцем, спрятаться под которым можно, только сдохнув.

В гроб вы положите «новый паспорт», яйца вши.

·
Назад не забегая.

План «Каурисмяки»: они угробят тебя, а ты воскресни — и, себя не помня, заживи пуще прежнего.

Отныне любое казённое человековместилище — дорого сердцу, а всякий кремль — Куликово поле.

И прольются дожди. И среди небесных звёзд воссияет человеческая, наша.

·
Прячусь «умно»: у мамы.

В четыре утра сто девяносто ментов вламываются в мою однушку и находят в компьютере срамное. Срамное отвратительно; его не любят даже чикатилы. Я — совратитель. Днём Почта, Телеграф, Телефон, Телецентр, Мавзолей, ЧК, ЦК, Дума, Белый дом и театр «Табакерка», куда я, сбрив усы и заплетя в косички георгиевские ленточки, забегал с пиццей (реклама: «Папа Джонс», лучшая пицца современности, обещала — сделает: сполна оплатит похороны), становятся аквариумами, рыба быстро засыпает, а гадов с жабрами всего ничего.

«Прячусь», упав на нужной улице, в Склифосовском: смерть клиническая, но щадящая: медсестра кормит чёрной икрой, и вечером я опять бегаю с «Папой Д.» (извините, реклама: лучшая пицца Вселенной, идеальный выбор человека дождя с беспокойной совестью: доставил, улыбнулся, и они сами кричат: «Куда же вы, а чаевые?» — «Некогда, сегодня столько заказов!») по адресам. Ну-и-дождина топит минсапог, гувд, несколько увдов, минимолотова и минимберии; ответный свинцовый дождь навсегда вязнет в злопамятных плотных слоях атмосферы.

В следующие четыре утра сто девяносто ментов, выйдя на балкон, качают на руках маму, а она только смеётся (она по проволоке ходила!): этаж третий, и внизу растянута цирковая

сетка. Так они теперь истязают нашу сестру. Старая партизанка забирает с собой семерых.

А я «прячусь» в Грауэрмана, сделав себе многомесячный живот и упав без чувств у самого порога: снова клиническая, но детская, выкарабкиваемая (отчётливо помню классический свет в конце туннеля). За обедом с клёцками с одной пуговицей (на тринадцать клёцек) к компоту меня раскусывают и переводят в Кашенко. Сбегаю тут же.

К ночи ещё одними московскими бассейнами становятся Лужники, ХХС и ГУМ. Продавцы ласт и свечек зарабатывают на Канары. Метро заливает почти случайно: задумался, разулыбался, и. Жертв и разрушений нет, но электричество вымокло на совесть, когда теперь высушат.

В новые четыре утра сто восемьдесят три мента во главе с полковником Циллергутовым берут штурмом Склифосовского и, сломленные бесконечными бесполезными допросами, вешают каждого седьмого нашего брата.

Я умираю около Бауманского морга, но в его холоде быстро очухиваюсь, пугая покойников.

ТАСС трепещуще и глуповато сообщает: «...А сейчас в столице нашей родины городе-герое отчего-то тонет Елисеевский магазин. Граждане, пришедшие за чёрной икрой, стоят в очереди по пояс в чистой и вкусной дождевой воде, которая всё прибывает».

Моё сердце бьётся вновь; я, не таясь, иду к Склифосовскому на выручку нашему брату, и все указательные пальцы тычут в меня. Люди, видевшие меня в туннеле со светящимся концом, поступили опрометчиво: они сдались на первом допросе, и теперь моих фотороботов нет разве что на их грудях.

В четыре утра сто восемьдесят три мента расстреливают меня при попытке к сопротивлению. А я просто хотел угостить их конфетами с белладоной.

.
Всего сто восемьдесят три мента.
Эй, их всего 183.

.
И никакого на сей раз света в туннеле.

Ошадэ

Ошадэ — это она, Одна Школьная Девочка (впившаяся однажды карамельными губами в губы Героя Нашего Времени, и с тех пор Он не шёл у неё из головы), но, по её просьбе, больше мы о ней ни гу-гу, ибо кто отводил от Него, пока мог, беду звонками? кто, когда Его останки отдали давиться свинцом служебным собакам, рыдал в служебном туалете? кто так, увы, и не выпустил своего мужика на волю, продержав его за ноги пару минут вниз головой над бездной двора? («Какая же сволочь», — говорила она и выливала на пьяную сволочь ведро мёртвой воды, а их общие дети и один пришлый ребёнок потом отливали пьяную сволочь живой водой.)

Менты в очереди в крещенскую прорубь говорливы: «Завтра, завтра уже погромы, после святого праздничка. И если придётся стрелять, то только на поражение».

«Списки же есть?» — распереживалась Ошадэ, но искупалась как ни в чём не бывало.

Списки были, Оэм в них отыскался, завтра настало.

— Видела в ящике: снулый синий эрнст плещется в «Седьмом небе» лицом вниз, как надувной матрас, а на нём эта. Это правильно, но наши-то — и-спол-ни-те-ли, милый. За что ты их?

— Исполнители ра-сстре-лов.

— Это да. Но топить?

— А что же они плавать не научились? И: а где ОСВОД? где ваш хваленый ОСВОД, хорошая?

— Я не знаю. Но какие же это Воды? То, что ты творишь, это паводок... и сель.

— А расстреливают, потому что концлагеря не по карману?

— Да не знаю я.

— Завтра они расстреляют тебя у твоей мамы.

— Хорошо.

— И опять в четыре.

— Спасибо. Мужской голос тебе не шёл.

— Не шёл, но пригодился.

.

— Расстреливают, потому что «концлагеря — идиотство, нафталин, траты. У нас безучастность и беспамятство: расстреляли — и расстреляли; завтра фюрер снизит цены на «Киевский торт» — и всё забудется. А концлагеря — это возможные крамольные разговоры и вероятное внимание». Так нам сегодня объяснили.

— Хорошо.

— Мама твоя в порядке. Семеро наших — нет.

— Очень хорошо.

— Чего очень хорошего? У них дети, милый, часто грудные.

А отцы теперь инвалиды.

— Но молоко-то у инвалидов жён не пропало?

— Не знаю, спрошу. Господи, что я несу.

.

— Молоко на месте.

— Хорошо.

— Завтра ровно в четыре утра они расстреляют тебя в Склифосовском.

— Хорошо.

— И куда ты теперь?

— Что-нибудь придумаю... Кстати, и жирность у молока у них прежняя?

— Перестань.

— Губы у тебя... карамельные.

— А твои — медовые, милый.

.

— Жирность молока у этих сук тоже норм.

— Хорошо.

— В Грауэрмана больше не ходи, наши взяли след.

— Хорошо.

— ГУМ ты напрасно, а в Луже теперь море не хуже Белого. Я думала, куда же в отпуск... А вот сюда.

— Рад.

— И — с нами снова старый добрый бассейн «Москва». Ура тебе, милый.

- Я старался, хорошая.
- А Елисейский это не ты?
- Это не я.
- Шизиков жалко.
- Очень. Не передавай своим, что они поплатятся.
- Не передам.

Она пришла зарёванная. Сняла форму и пошла выбрасывать с балкона пьяного мужа.

Каурисмяки

Начинённое пулями мясо свело восточноевропейских с ума: они разнежничались, позволили выпустить себя в вольер, дали гладить против шерсти и засовывать в пасти ладони в липком геркулесе и маленькие ефрейторские головы, кормить с руки эклерами, называть Милым Масиком и Заветной Сволочью, а затем, будто получив команду, окрысились, задрали и затоптали подсобных ментов, пробились через внутреннюю проходную, подъев три лапы с пальцами на спусках укороченных АК, прорвали клыками проходную уличную, парадную, и потекли по Москве стройной реактивной стаей, к которой за каждым углом примыкали подзаборные кабысдохи и холёные хозяйские твари в одежках и даже ботиночках (этих холёных стая насилвала на бегу ближними псами).

Оэм очнулся, посмотрел в зеркало, которое медсестра совала ему под нос, увидел незнакомца и сел на каталке. «У вас три пулевых, — захохотала сестра, — а вы вон какой: ещё дышите, уже сами сели, а теперь, небось, сами же спросите, где вы».

Оэм спросил: «Ма-ма. Ма-ша. Ра-ма. Шу-ра. Ма-ра. У-ра. Ма-ша ум-на. Ма-ра ум-на. А Шу-ра?»

«Вы в медпункте, — рассиялась сестра, — я сестра Сидорова, очень приятно было открыть вам дверь и обработать ваши сквозные раны».

Оэм понял, что он умеет говорить. «И кто же я, се-стра Сидо-ро-ва?» — «Вы израненный человек». — «Я примат?» — «Я надеюсь». — «Никогда не связывайтесь с приматами». — «Вы правы: неподалёку очень долго стреляли, а потом появились вы, дырявый в трёх везучих местах». — «Я буду жить?» — «Если захотите». — «А теперь я пойду, сестра Сидорова. Я ведь куда-то шёл». — «Я дам вам зелёнку и бинт. Мажьтесь и перевязывайтесь каждые три часа».

Подпрапорщик Дубов первым выстрелил в преступника, предательски затапливающего Москву. Он же был первым у тела преступника, чтобы сделать контрольный выстрел в спину. Но менты ещё стреляли, и подпрапорщик Дубов пал смертью стремительных. Вслед за ним смертью серебряного призёра пал капеллан Кáцин, бросившийся исповедовать подпрапорщика Дубова. Потом был убит проявивший чудеса отваги и самоотверженности фельдшер Биглеров, всегда мечтавший вынести из-под огня подпрапорщика Дубова и капеллана Кацина. Стрельба не утихала до ночи, гора героев росла, скрывая под собой беззаконника. На её вершине покоился вертолётчик Сагнеров, вызванный для огневой поддержки с воздуха и подстреленный ментом с позывным Друг Индейцев, перепутавшим Ми-24 с «Апачем». Осиротевшая машина, горя, подалась в неизвестном направлении; её поиски продолжаются.

Альфа-овчарки Мусор, Кобель, Падла и Плечевая, получившие на завтрак хорошо просвинцованную свежую вырезку, поставляемую моргом имени Дяди Стёпы, не хотели и не собирались никого рвать, но очень уж плотным оказался завтрак. Никотин, боевые сто г и свиные цепни всосались в покорную собачью кровь и устроили в столице родины необычные бега: дорогие москвичи убегали, а собаки их догоняли, лая такое человеческое: «Ну что сказать вам, москвичи, на прощание?»

Через три часа, выйдя из медпункта, Оэм захотел смазаться и перевязаться. «На смазывание и перевязку», — сказал он на входе в ближний дом, и его любезно пропустили. Миновав несколько залов, переполненных кавалеристами, Оэм сел напротив картины с Христом и народом. Впитывая и постигая её, он подлечился зелёной и бинтом. Потом попросил у внимательной старушки в жандармской униформе холст и масло. «А кисти?» — намекнула старушка. «И их, пожалуйста».

«У вас получается, — сказала старушка. — Этот баварский ефрейтор похож на нашего генерал-губернатора. Вы блистательны. У вас дар». Расчувствовавшись, старушка вытерла слёзы счастья и махнула рукой.

Набежало сто восемьдесят три мента. Почти не отбиваясь, Оэм нанёс семь нокаутирующих ударов. «У вас и это получается, — кричала старушка, — у вас два дара. Я буду носить вам холст, кисти, масло, а по субботам — перчатки». «Обещаете, тётя?» — «Клянусь, мальчик».

Пакет для дрезинщика

*Пако, который хотел
всех нас вывезти, но кончились рельсы*

Жёлтый почтовый пакет без марок и словечка лежал на путях между Баковкой и Трёхгоркой, своими двумя третями ближе к Москве. Пухлый и обгаженный скорыми, он упал в зелёный армейский ящик с надписью «Неведомое». Потом дрезина чуть не наскочила на всё ещё дымящийся дробовик Ремингтона, а через семьсот аршин под колёса мог угодить, кажется (сопел), спящий велосипедист. Ружьё дрезинщик Полустанкский порубил топором, а засоню на гоночном бережно отнёс аж к шоссе — чтобы тот, проснувшись, нёсся по гладкому и почивал

в кюветах. За это время пробежало три товарных плюс два скорых «Воркута — Магадан».

Ванечка записывал: танков на открытых платформах толпилось на три полка; танкистов в теплушках замерзло с запасом (мальчишки кричали ему в щели: «Передай маме, парень»); собаки, прикованные к танкам, махали ему 132-мя хвостами; прикованная к собакам вохра отворачивалась в слезах (ибо Ванечка отставал умственно, что было видно за версту: Ванечка целился в вохру из искусного деревянного «шмайсера», и вохра не отвечала) 132 раза; загримированных под пассажиров с югов эзков было по двадцать семь в каждой купе (всего, как показала Ванечке логарифмическая линейка, 702 будущих урановых копателя); угля первому паровозу хватит до Освенцима, второму — до Нюрнберга. Ночью Ванечка передаст всё это клотиковым фонарём на ущербный месяц. Между делом Ванечка слепил из снега подсолнух и закопал его в сытной снежной целине, где ему будет беззаботно прорасти.

Неумелые макеты трупов с нарисованными скорбными лицами (резиновые мешки с прогорклым желе из картофельных тошнотиков и армейской махорки, от которого отказались собаки) дрезинщик оттаскивал с путей с бесстрастной миной: кого-то они кормят (поезда останавливаются, из них выходят, на вышедших нападают, отнимая у них бумажники с водянистыми керенками и вырывая из рук детей, если керенок на покупку детей явно не хватает), а кого-то пугают. Упавшей с неба космической отвёрткой протыкал мешок, и Ванечка приплясывал на нём, освобождая затейное народное изобретение.

Найденные на путях использованные кофейные капсулы и чайные пакетики Полустанкский утаивал: ящик «Съестное» был всегда пуст. «Для души и напитков», — объяснял дрезинщик Ванечке. Вечером выпрастывал, смешивал и сушил; сухое заваривал родниковой водой и упивался, ведя довольные

разговоры: «Вот перебрался ты в Корею, полюбила и пригрела тебя корейнка, даже дети пошли, — и тут ты даёшь маху: “Дубровского” ей читаешь с выражением, говоришь то, что думаешь, — и она на тебя доносит. Представляешь, Ванечка: любимая, любит, а ябедничает».

Пути хорошие, длинные, двухколейные, находится многое. Испражнения складировуются в пакеты и закапываются на глубину, где мерзлота делает из них цуциков. Но один пакет — всегда на анализ, чему дрезинщик посвящает ту часть вечера, что предшествует колониальнопитию: если глисты на месте — значит, не всё ещё потеряно, а если пропадают на три недели, должно сигнализировать. И, конечно, снег: Полустанкский сработал ковш, вырубленный из единого тела дуба, который сметает все наносы на пути дрезины, если крутящий ногами чугунные колёсики Ванечка ел много каши.

В конверте нашлись: дагерротип мальчиков и собаки породы «клякса» с надписью: «Чтобы вы нас узнали. Я справа»; стишки с пометкой: «Папины. Чтобы вы нас спасли, потому что мне только семь, но я уже подаю надежды», три штуки:

Летняя ночь (из Альберта Джозефа Мура)

*А вот и дама моя пришли
и что-то делают в темноте.
Не догола ли оне, в нули-
кресты играя с собой в тщете
хотя бы раз одолеть себя,
на раздеванье играя, уж
раздеты и, рыжиной свербя
луну в окне, чей мазок уклюж,
позируют для этюдов фаз
«Оне задумались, с кем бы лечь»,
«Оне потягиваются, вас
не замечая», «Оне сну встречу
в постель упали», «Оне власы
тесёмкой вяжут, и этот плен*

снопам пшеницы до бирюзы
завиден, но уж таков обмен?»

Пальцы

За солью на кусок стучался в двёри;
одну открыли, запустили, соль,
карманы попросив, не заржавели
дать: насыпали жирно, хлебосоль-
но, но смотрели, слышу ли я запахах
отрезанного пальца, или трёх,
который поднимается при слабых
порывах сквозняка: каких-то крох
из пальца (или трёх), весьма трамвайно
отрезанных при резке хоть кого,
хватает, чтобы нервы, чтобы тайна,
взыграли, стала явной, — оттого
смотрели в оба, взглядываясь в душу,
но я уже привык, и я смолчал,
что кровяные моли кружат, лужа
способна зажурчать, когда трёхпал
уже двуногий, пятипалый прежде.
Но я привык, идя за солью: пять
их было на ночь глядя, но «Отрежьте, —
звучит, и вот их два. — Вам соли дать?»

Манная каша

Мальчик, занимательный, подножки
подставляет публике детсада.
Упадает публика. Умножьте
выпадение в грязь из променада,
выпадение в снег из взрослых мелких
мыслей, выпадение навзничь, мордой
в детские фекалии в тарелках
с салом для синичек на простёртый
в мини-юбке женский иль зольдатский
в галифе обидный образ (крупно —

«у меня тринадцать ампутаций»,
«если поднимусь, хребтиной хрупну» —
губы развалившегося тела).
А ещё умножьте на дремоту
после обезболивания смело
вправленной руки и косорото
после перелома трёхлинейки
взвывшего зольдата, — и поймёте,
что к чему на этой беглой склейке
случаев с подножками в расчёте
на вопрос: к чему такая шкода? —
Чтоб шепнуть упавшему на ухо:
«В манную подмешивают что-то.
Каша в голове, упадок духа».

И деньги, керенки, но очень, очень много, с припиской:
«Прошу изобрести вертолёт, быстро сесть в нашем концлагере
и попытаться освободить нас с Кляксой. А если вертолёт будет
большим, то вообще всех, кто поместится».

«Вертолёт я сделаю, парень, я смогу, — потирая руки,
сказал Ванечке Полустанкский. — Винт вырежу из берёзы. Тяга
будет ножная, твоя; каши накуплю, и будет. А дробовик я зря
порубил; без стрельбы не обойдётся».

Польша натыкаются на

Длинное пальто на вате с полусобачьим воротником, в котором
попеременно кутаются фигуры и лица дородной магазинной
тётки, сытого троечника-дылды, водопроводчика из
крестьян, профессора пения и бывалого солдата, помнящего
ещё 1812-й, идёт сквозь заснеженный среднерусский
возвышенный пейзаж.

Перед пальто неожиданно возникают:

Соляной столп, —

и пальто с тёткой, лизнув жену Лота, рубит рукояткой пистолета Макарова её плечи на полные карманы соли; жена Лота с брезгливой тоской смотрит на жену лавочника;

и пальто с дылдой лезет немытыми руками под короткую юбку замершей девицы постарше; глаза девицы выражают усталый петушиный «караул!»;

и пальто с сантехником лепит на полураздетой иудейке снежный закрытый купальный костюм, поверх которого лепит заячий тулуп, на ноги столпицы надевает снежные валенки, а на голову — малахай; попросив у прохожих ярко-красную помаду, мажет ею губы жены Лота; наконец, крепко подумав, умело и образно лепит вокруг неё пляжно-солнечную Кубу в разгар турсезона; столп Лотовой жены, кажется, воодушевлён; кажется, он готов произнести своё первое за 35 веков слово, и слово это — «Дайкири»;

и пальто с преподавателем вокала пытается воодушевлённо проверить у жены Лота слух и голос: «Мечтаю узнать, музыкальны ли вы, певучи ли. Что-нибудь из “Периколы”, пожалуйста. Забыли слова? Я напому: “Я всей силой души обожаю тебя, / Я бы, кажется, жить не могла, не любя...” Стесняетесь? Глупости: московские зрители очень тепло встречают высокое искусство. Или, может, “Семь сорок”?..»; когда столпу это надоедает, на нём появляется разноцветная бегущая строка: **ПОВАРЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ВЫВАРОЧНАЯ, С ПРОТИВОСЛЕЖИВАЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ, СОРТА ЭКСТРА...**

и пальто со скажи-ка-дядей, распахнув полы, состругивает с правой деревянной ноги столько сухого дерева, сколько понадобится, чтобы согреть одинокую молчаливую барышню с выпученными глазами в это непростое холодное время; костерок быстро разгорается; появляется котелок с варевом: «И супца тебе. Похлебаешь, и полегчает»; столп жены Лота признательно солеточит глазами.

Стой-Кто-Идёт, —

и пальто с продавщицей ластится к: «Я тобі картошечки горяченькою принесла. Та з салом. Та з екстрою іудейською.

А співаєш, анаші повну пазуху насиплю»; забыв о предупредительном выстреле, Стой-Кто-Идёт стреляет на поражение; пальто с тёткой валится в снег, на него садятся галки, граждане на резвых полусогнутых обходят его за версту, коммунальщики огораживают его заборчиком с надписью: «Извините за неудобство. Скоро здесь будет комфортно»;

и залитое кровью пальто с оболтусом убегает прочь, петляя вокруг прохожих; Стой-Кто-Идёт, сделав предупредительный выстрел, стреляет картечью на поражение раз, стреляет на поражение два, стреляет на поражение три; прохожие валятся в боевых количествах; пальто с подростком отделяется «ха-ха, чуть не убили, а я такой, как побежал...» — «Ой, ты же весь в крови». — «Да это не моя, а одной тётки»;

и окровавленное пальто с водопроводчиком с непрыстыми деревенскими детством и юностью впадает в грех объяснения: я, дескать, по работе денно и ночью весь в говне, я, типа, плоть от плоти трудового русского народа, «стрельни, если хочешь, вот тебе моя грудь, а гаечный ключ я в сторону откину, хорошо? вот, бросил»; Стой-Кто-Идёт делает предупредительный выстрел в воздух и, скрутив сантехника, передаёт его специально обученным нелюдям со шпичрутенем у первого, с дыбой у второго и с мегафоном марки «Расходитесь, Граждане, Всё Закончилось» у третьего;

и обагрённое кровью пальто с певческим профессором затягивает: «Deutschland, Deutschland über alles, / Über alles in der Welt», но падает в обморок; беспмятное пальто мгновенно разрывают на тысячу сувениров;

и, всё в крови, пальто с кутузовским ветераном достаёт крупнокалиберный пулемёт Владимирова — и давай косить, ничуть не скрывая мысли старого солдата: «Я, *ля, дед, а ты, *ля, салабон. Баба в пальто тут с 1363-го ходила, а ты, югенд, её...»

·
Вопрос «почему всё время кольцо? отчего не прямая?», —
и.

Голый, сука, землекоп

Окапываясь, Адик знает, что после попаданий никто никого не отрывает, мы — особенно, хоть обкричись, что тебе душно, как в могиле, и «мужики, вы звери», поэтому роет по-своему, с душой и планом, вкладываясь.

Во-первых, боковые ходы: много боковых ходов на десятки метров во все стороны света, кроме, сука, вражеской, ниже самой глубокой воронки, которую он видел; конечно, на карачках или по-пластунски, ибо одной лопатой, но воздуха бездна — из-за дыхательных отверстий на выходе: лежи, переждидай, ехидствуй...

...и, в-четвёртых, соси сушку: Адик, сука, не только пахарь, но и запасливый: у боковых ходов есть боковые ходы-склады, а в них: ситро, сидр, спирт, сушки, сгущёнка, тушёнка, космические супы, копчёные свиные рёбрышки и курево; кури шесть месяцев и пьянствуй.

В-третьих, не под себя: Адик предусмотрительный: у боковых ходов есть боковые ходы-уборные — да с отдушинами, а в полуростовых сортирах всё по-честному: баки для отходов, химикаты, чтобы добро не лежало, а вкалывало на укрывающемся: из твёрдого добра химия творит полусъедобные антрекоты, а из жидкого — пойло «Буратино»; спички от запаха, весёлые картинки и женские постановывания в наушниках для досуга.

Но ведь метель! Есть у неё одна подлость: вода пролилась — и в недрах, а эта заваливает по пояс, по шею, с головой; скрадывает, но и вусмерть засыпает. И все Адиковы боковые ходы — псу под хвост: залёг в ноябре, а к апрелю мумифицировался, задохнувшись под Новый год. Пробовали — многих недосчитались: «Такой-то, ау», — поверяет ротный, а мы отвечаем: «А он теперь, ваше благородие, Рамзес третий». — «Чего? А, понял». И только Адик у вьюга аринародиноновна,

и только Адика метель не ломает; пробовали — как огурчик: живьём закапывали связанного в сугроб, а он всё равно выше нуля и, отлежавшись в блиндаже, начинает дышать; на Новый слепили из него снежную бабу и забыли, а он 3-го сам прикатился, но с зелёными соплями и сытый: мы ему котлету, а он: «Вам, пацаны, дарю». А мы ему о своём: «Ты, головастый Адик, лучше подумай, как роту от снега защитить». Уже в одной майке, хрукает сухарём и пожимает плечами: «Пацаны, обещаю».

В-четвёртых, красный уголок, оружейная и знамя, сука, полка в боковых ходах быть обязаны, а Адик забыл. «Адик, — умоляем его, — хоть Дюймовочку, хоть кого, но зафрахтуй, по доброй воле приведи и посели в своих знаменитых боковых ходах. И чтобы с койкой: пусть с панцирной сеткой, но с балдахинном и чугунными сосновыми шишечками на спинках. А назовём этот боковой красным уголком». Адик настукивает на своих выдающихся передних зубах марш Мендельсона и обещает. «Туда же засунем винтовки и флажок. И тебе на два хода меньше копать». Дюймовочка его не манит: «Я только рою, пацаны», — но нам-то, но нам! «Адик, любезный, давай, а?»

«Адик!» — «А?» — «Икс на. Ты не забыл о бабе? хотя бы о медсестре?» — «Пацаны, я стараюсь, но рук не хватает». — «Старайся больше, Адик, а то мы вспомним, что ты Адольф. Ты же немец, Адик? Немец, что ли?» — «Я Ярополк, пацаны». — «А Адик почему?» — «Так вы же и назвали». Точно, мы, за характерные чувствительные усики, которые топорщатся, чуть ли не подрагивая, когда Адик гордится, играя с нами в блиндаже в «Очко» на раздевание, и седеют и опадают — когда мы пинаем его за хроническую отлучку Дюймовочки. Ну и память у роты. Девичья.

«Адик, бабудавай». — «Неприменно. Скоро. Терпение». — «А в ухо, Адик?» — «Не надо, пацаны, мне сегодня опять в дозор, и копать до отбоя». — «Так нельзя, Адик. Ты отбился от рук».

Мы бьём Адика по губам, надеясь отбить их до студня, чтобы Адик хоть раз сфальшивил, подавая в горн все 18 команд, и мы не пойдём в атаку, будем спать до отбоя, отправимся в увольнительную, сославшись на неверную дудку Адика, а он даже не плачет.

«Адик, что там с бабой?» — «Скоро порадую, пацаны». — «Адик, покажи руки». Адик выставляет вперёд заскорузлые пальцы с залежами ногтевой глины. «Опять не вычистил?! Вот какие должны быть пальчонки! — Мы суём ему под нос свои белые армейские длани с чужой кровью под два года не стриженными когтями. — Вот какие, Адик!»

Что же делать? — Известно что: изводить виноватого Ярика, этого несусветного голого, сука, землекопа.

Гончаров и Бочаров

Когда-то я немного знал Бочарова: мы раскланивались, при встрече я целовал ручки его супруге, а однажды мы вместе пили чай на пристани Ока, и, когда я упал в реку, он зачем-то бросился меня спасать: воды было по пояс, и мы изрядно повеселили проходившие мимо баржи с арбузами. Но разговор не о нём, а о его лучшем, ещё со школьной скамьи друге Гончарове. Сей Гончаров, которого я тоже знал, умел лабать Баха, стоя спиной к пианино, чем каждый вечер зарабатывал на целый день с пивом и леденцами, но только летом, когда работал Зелёный театр. Но речь о другом.

Когда наступила Зима, Гончаров записался в добровольцы и вскоре погиб. Бочаров был на его похоронах, которые прошли через три года после гибели друга, с тремя подсолнухами в зелёной керамической вазе. Я принёс те самые ноты, которые Гончарову были теперь не нужны, ибо на спине нет глаз, на

которые можно надеть его диоптрии. Его жена швырнула Баха в могилу и сбежала с похорон; запаянный ящик, в котором что-то перекатывалось, закопали без неё. Но, прежде чем уйти, она написала на гробу толстым красным фломастером всё, что думала: **ВОТ ЖЕ ИДИОТ, ПРОСТИ ГОСПОДИ. И КАКАЯ ЖЕ Я ДУРА, ЧТО.** «Все мы идиоты, и все мы дураки», — прокричал ей в спину Бочаров. С тех пор её не видели.

Зелёный театр растащили на дрова. На его месте все полтора летних месяца теперь бледно зеленеет картошка, но, кажется, никто так и не смог пожарить её. Бочаров раскашлялся и попал на семь лет в учреждение, где кашлюнов лечат мазью Вишневого и пайкой плат для летательных изделий. Выздоровев, он вернулся с заветным рентгеновским снимком. Но не об этом же, чёрт, мой рассказ. И, да, он стал неразговорчив, зато много и заразительно смеётся; при встрече в очереди за квасом мы зачем-то обнимаемся и утираем слёзы, и ни полслова... И так... Говорят, крепко и продолжительно обнимая, он вешает на человека самодельные пластилиновые жучки, трекеры и апотропеи, чтобы слушать, видеть и, если что, отгонять. Не понимаю, чем я заслужил такое. Говорят, он делает так со всеми, кого знал. Я проверял себя вплоть до майки, которую выварил в мёртвой воде убежавшей от старого берега Оки, но ничего не всплыло. И так.

Деревья: за всё это время они ничуть не изменились, только липы вдруг взяли и засохли, все до единой. Я любил их; сидя на липе, я мог прочесть всего Набокова и не заметить сентября. Но в лесах, кажется, ещё водятся. И так,

Бочаров получил телеграмму, которая гласила:

**БОЧАРОВ ЭТО ГОНЧАРОВ тчк ОКАЗЫВАЕТСЯ зпт Я ЖИВ
зпт НО Я КАБУЛЕ ВЗЯТ ПОЛОН тчк НУЖЕН ЧЕМОДАН ДЕНЕГ
зпт ЧТОБЫ ВЫЗВОЛИТЬ тчк Я ЕЩЁ ПОЗВОНЮ тчк ДУМАЙ
ЧЕМОДАНЕ ДЕНЕГ зпт СТАРОМ зпт КОТОРЫЕ НОСИЛИ РУКАХ
НАШ ТОБОЙ РОДИТЕЛИ зпт ПОМНИШЬ впр ЧЕМ ЧЕМОДАН**

БОЛЬШЕ зпт ТЕМ КРЕПЧЕ МОЯ НАДЕЖДА тчк ЛЮБЯЩИЙ
ТЕБЯ ТВОЙ ДРУГ ГОНЧАРОВ тчк Р тчк S тчк Я ЕЩЁ ПОЗВОНЮ
тчк ВПРОЧЕМ зпт Я ПОВТОРЯЮСЬ тчк ПРИВЕТ ДАМЕ СЕРДЦА
тчк ПОЕШЬ ЛИ ТЫ ЕЩЁ ВАННЕ впр

.
Бочаров пел в ванне. Ну надо же.

.
Бочаров преобразился и воспрянул: надел дедовский китель горного инженера, бегло заговорил — и отправился к ментам за подробно описанным в телеграмме чемоданом денег. На птичьем вопросе: «Поёшь ли ты ещё в ванне?» менты изменились в мордах, взвились, вытянулись и прокаркали: «Деньги будут завтра, мсьё маркшейдер. Не забудьте прийти».

.
Этой же ночью в 0:36 (в 0:33 из-за трёхминутного отставания) у Бочарова заорал телефон.

.
— Наконец-то я дозвонилась, — сказала с фальшивой зарёванностью скорее женщина.

— Гончаров, это ты? — спросил Бочаров. — Это я, Бочаров.

Зарёванная женщина задумалась, но быстро нашлась:

— Бочаров, дружище, сколько зим, это я, Гончаров. Ты как, норм?

— Я-то норм. Ты как?

— Флотский порядок, Бочаров, я более-менее. Вот только...

— Чемодан денег из телеграммы, да? И тогда наконец обнимемся?

Зарёванная женщина задумалась, но быстро нашлась:

— Именно. Очень хочу тебя обнять, Бочаров, братишка. Телеграмма — долго откладываемая вынужденная мера. Без чемодана денег — никак. Ты поищешь? Сумма внушительная, но и вопрос жизни-и-смерти.

— Понимаю, грущу. Деньги почти нашёл. Будут завтра. Куда мне с ними, Гончаров, друг?

— Чемодан, вокзал, поезд моего направления, седьмой вагон, проводница, брат Бочаров. Так тут принято.

— На Казанский, что ли? И до Ташкента? Пароль для проводницы нужен?

— На Казанский, до Ташкента, пароль: чемодан с яблоками до вашей столицы, отзыв: за тыщу ваших.

— ...тыщу ваших. А теперь, Гончаров, докажи, что ты Гончаров.

— И как же мне это сделать, Бочаров?

— А Баха, как бывало, сбацай, повернувшись спиной к инструменту.

— К пианине, что ли?

— К ней.

Зарёванная женщина задумалась, но быстро нашлась:

— Так нет пианины под рихтеровской рукой, брат. Не отключайся, спрошу у ребят.

Бочаров не отключился.

— Во всём Афгане ни одной пианины, Бочаров, брат. А на... как его... рубабе я так и не научился.

— Тогда, Гончаров, расскажи мне такое, о чём знаем только мы.

— Помнишь, как семилетние мы зашли на стройке в только что срубленный туалет, сняли трусы и прислонились друг к другу письками? Ты ещё сказал, что это и есть «один неприличный непереходный глагол несовершенного вида».

— Всё-всё, не продолжай.

.

А вот теперь о Бочарове.

Бочаров получил у ментов правильный чемодан денег, но в Москву на Казанский не поехал. А поехал в Энск, где с той же кабульской телеграммой пошёл к ментам. Менты взвились и на следующий день выдали Бочарову чемодан денег. Мента, который взялся сопровождать Бочарова до Казанского, Бочаров порубил.

.

Так теперь зарабатывают многие. Господи, да каждый восьмой с половиной. Зима же.

Княгиня N

Чёрную речку не дано перепрыгнуть никогда, нигде и никому, но в это утро, в этом не самом узком месте он сумел: вдруг побежал, побежал, ещё не понимая, зачем, вдруг увидел воду — и вдруг взвился; в воздухе подумал: «А не кувырнуться ли на всём лету?», но было поздно: ноги чуть не по колени вошли в другой берег. Очень болотисто было в том месте в тот день возле Чёрной. «Ну и зачем перелетал?»

А затем что не мог иначе, не мог вброд: N, княгиня, безупречное создание, ангел, гений, образец, давеча повела ручкой, летуче указав пальчиком на левую бровь, которой повела раз, другой. А ввечеру был нарочный с письмом с одним лишь словом: «Завтра».

И когда же, моя хорошая? К обеду быть? заглянуть на ночь глядя? Ну уж нет: буду под дверью с самого раннего утра, пусть даже спит ещё, — и нагло останусь на всё завтра, ибо завтра — это надолго, это целый день. «Завтра». Какое волшебное слово. Перелетел Чёрную, отряхнулся и дальше, крылышка, понёсся.

«Чаем, чаем, — всплеснула она руками, увидев его мокрое чёрнозаморашество, — чаем отпаивать. Осень, Сашенька, простуды». Ласково отпаивала с медами, а он шуйцей наигрывал под её юбками вальсок «Изящные очертания безукоризненной». Говорил глупости, а она им смеялась: «Убью князя на дуэли, сбежим в Вильну, обвенчаемся по их обряду, а?» — «Отчего же в Вильну?» — «Там Мицкевич». — «Не слышала».

Раз, два, три. Раз-два-три.

«А это что у нас?» — «А это у нас vulva». — «Не слышал. Прежде не притрагивался».

Раз-два-три. Раз, два, три.

«А это у нас что?» — «А это у нас φαλλός». — «Что-то греческое, высокое?» — «Без всяких сомнений, княгиня». — «Удивительное. Непроизносимое. Невиданное. И фу-какое,

когда вы назойливы с ним. Нельзя, несносный. Не сейчас. Не сегодня. Может быть, вообще никогда». — «Как вы можете говорить такое с сухими глазами?..» — ошарашенно спрашивал он — и продолжал говорить, говорить, говорить, чтобы она расплакалась.

Раз, два, три. Раз-два-три.

Беспомощное, глупое, дилетантское «но тут вернулся князь (“Князь, я не ждала вас сегодня”. — “Сам не ожидал: возвратился с полдороги, ибо соскучился”. — “Как же я рада этому”. — “А чья это шляпа висит у нас в прихожей?” — “Ой, это, наверное, гостя. Неужели забыл... Вот растяпа. Сейчас же отправлю к нему человека. На улице холодно, а он склонен к простудам”. — “И кто же это? Юнец, ваш птенчик, ваша ручная обезьянка?” — “Да, если вам так угодно называть даровитого юношу”. — “И чем же вы занимались?” — “Я учила его печь блины. И у него прекрасно получалось. При этом он, весь в муке, тесте, читал мне свои премилые вещички. Ещё не Гаврила, но и уже не Анька Бунина”)), безусловно, ещё будет в этой истории. Как и скрежетание маленькими кариесными зубами: «Итак, решено: я застрелю его на дуэли. “Ручная обезьянка”, ну надо же...». Будет, но не в нашем точёном рассказе.

Легенда гласит, что князь не выходил из дому семь дней и ночей, и всё это время наш полуодетый герой провёл в кладовой в углу для прислуги среди яблок, солений и ржаной муки, которые стали его лучшими друзьями. Пить ему тайно приносили, и не всегда воду; даже первым со вторым кормили; но ходить в бочку он отказался на третий раз, и с тех пор, все семь дней по ночам выбирался или на двор, или к переполненному княжескому горшку, что забавляло его невероятно. Говорят, он даже написал об этом, но выдающиеся иронико-гомерические строчки сгорели при энном пожаре в Военно-топографическом депо на 2-й, гм, Бауманской. Само собой, педалирует легенда, княгиня N то и дело заскакивала к нему, чтобы. Вот в это верим всем сердцем. Иначе и быть не могло. Перелетел бы он через паскудную Чёрную речку, если б этих заскакиваний и заглядываний не было? — Да с чего бы.

Полицейское досье (документ, между прочим) с легендой не вяжется вовсе: он провёл на «нелегальном положении» в доме князя N не семь дней, но две с лишним недели, до первого снега. Когда девки закричали: «Барыня, боженьки, ночью были снеги; гляньте, сколько насыпало», он выбежал на двор и упал лицом в первый сугроб. Тут князь его и.

То же досье впервые с полицейской точностью и дотошностью сообщает нам о цвете его волос, глаз и росте, что, согласитесь, всегда было мучительной загадкой, прилагая к её разрешению несколько отменных дагерротипов.

«Цвет глаз: зелёный; ближе к цвету осины, чем к цвету водяного кресса».

«Цвет волос: натуральный блондин, какими обычно бывают чухонцы; ближе к цвету волос веси, чем вепсов».

«Рост: 2 арш. 12 1/3 верш.», а это, между прочим, 197 см (!). Сто девяносто семь сантиметров, господа. Вопреки всем бла-бла-свидетельствам. Невероятнейшая по тем временам дылда! Что это? «Эфиопская» кровь?..

Впрочем, разве не о том же говорят эти три полицейских дагерротипа?

Журнал Slaviç Review считает эту баскетбольную лихву истинной.

И мне, карлику рядом с ним, так кажется.

Даже Осип с Иосифом, словно сговорившись, постоянно строчили, насколько он был велик. Сами гренадеры, а.

Далее досье свидетельствует: «При опросе Его Высочество князь N заявил, что, имея на то основания в виде подозрений и странных новых запахов в доме и от жены, Его Высочества княгини N, он неоднократно приводил в дом дворовых псов, чтобы они установили источник его недоумений, но Зверь и Сволочь только улыбались. По словам Его Высочества, “собаки юнцу благоволили”. Людьями князя было показано, что пойманный прикармливал дворовых собак полгода, что, конечно, запало им, собакам, в их наивные животные души».

.
(Вы же помните, что именно в это время его неожиданно сослали к чёрту на кулички, о причинах чего -истика тоскливо, но до крови спорит вот уже два века.)

.
И: почему через на двадцать один день больший, чем обычно, срок у N, княгини, родилась тройня (!!) (о судьбе которой не только -истика, но и мы ничегошеньки, увы, не знаем, хотя всем горячим сердцем верим, что по любви бывают только замечательные дети. Это, к слову, мы считаем неопровержимым фактом — исходя из собственного богатого опыта)?

.
Да потому.

Лекция

Читая лекции о том-сём, где только не окажешься.

.
Сюда меня принесли на слоновых носилках десять выздоравливающих: по четверо печатали о-о-очень медленный и очень торжественный шаг по бокам, этакий тамбурмажор с резной ножкой стула в левой руке выплясывал впереди, держась правой за носилки, а одноногий в сержантской шинели с зеркальным «капельмейстеру» хватом ковылял сзади. В зале по команде энтузиастически захлопали; по команде же прекратили.

.
Лекцию попросили часа на три: «Нет, давай ровно три часа до обеда, и ни минутой меньше». Тема: «На твоё усмотрение, чувак. Да хоть о собачьем вальсе».

.
Церемонно, под духовые из колонок меня вознесли на сцену, сняли с носилок и поставили на стол с графином. «А

стакан?» — спросил я. Принесли кружку с номером на обливном зелёном боку. Зал умильно и несколько глуповато смотрел на стоящего на столе лектора, а потом опять, но уже без команды, зааплодировал. Было трогательно. Я почти расплакался.

«И о чём же мы хотим сегодня послушать? Чего вы изволите, доблестные солдаты и офицеры?» — спросил я крепко идущих на поправку тяжелораненых из числа призванных на фронт умственно отсталых. Как только я открыл рот, зал занялся своими делами. «Может быть, о кадансе, прерванном первой скрипкой вопреки воле Петра Ильича?» На редкость здоровый ефрейтор из obsługi запротестовал: «Нельзя: это подчеркнёт их ущербность: у многих бойцов нет не только рук, но и слуха». Ладно. «А давайте я расскажу о лучшем ударе с правой за всю историю спартакиад... который нанёс, разумеется... кто? — ну же, кто мог нанести такой удар?... конечно, Спартак». — «Не надо, дядя, — запретил околофутбольное ефрейтор. — Посмотри на ноги пацанов». Я посмотрел и пересчитал ноги у шастающих по залу тяжелораненых и кое-каких недосчитался. Ладно. «Феноменология Гуссерля и некоторые особенности телевизионных трансляций “Лебединого озера”»? — «Да ты совсем распоясался», — расхохотался ефрейтор. Ладно. «Тогда давайте о том, как щупать баб в лифте». — «Вот это интересно, давай», — разрешил ефрейтор.

«Лучше всего щупать баб в самом маленьком, можно сказать, интимном лифте, который движется сверху вниз, но не до самого низа, а туда, куда нужно бабе по её бабским делам. Бабу следует подбирать с таким расчётом, чтобы в её руках было блюдо с чем-нибудь вкусным, но не очень горячим. Лучше всего подойдут эклеры с заварным кремом. Нет таких слов, которые могут передать ощущения щупающего бабу человека, когда он касается кремовыми губами бабьей шеи. За жопу... Позволительна ли в столь высоком зале столь низкая лексика?» — «Позволительна, продолжай», — разрешил ефрейтор. — «Согласие бабы необязательно, но желательно. Между тем, по статистике ЮНЕСКО, каждая

пятая африканская женщина...» — «Гы», — гыкнул ефрейтор. — «...позволяет щупать себя в африканском лифте, идущем вниз, беспрепятственно и с очевидным удовольствием, помогает щупать себя и даже начинает щупать щупающего. В лифте, идущем вверх, этот показатель, увы, несколько ниже. Каждая четвёртая африканская женщина не применяет к щупающему насилия. Каждая третья — не стреляет по щупающему, но только в потолок. Каждая вторая африканка ухитряется накормить щупающего эклерами так, что он больше никогда к ним не притрагивается. Каждая первая — ни за что не заявит ментам о происшедшем, понадеявшись на кровную месть. Последнее к нам не относится, ибо кровная месть изжита в наших вологодских краях полностью и окончательно. ЮНЕСКО помалкивает о русских бабах в лифтах, но вряд ли они непокорнее африканских гордячек... Можно попить, ефрейтор?» Ефрейтор бережно поит меня из кружки №7.

Я честно отбарабанил три часа, оставив самое-самое — об ощупывании разновозрастных баб при должностях в лифтах госучреждений — на внелимитную финальную минуту, которую обговорил заранее. Я даже в туалет не просился (в обществе «Знание» оценили бы), но сволочи в зале вдруг, словно по команде, заорали: «Компот, компот», смазав концовку удавшейся лекции.

Отдельные пассажи ефрейтор записывал на телефон и победоносно выкладывал в «Инстаграм», знаками сообщая мне об ошеломляющем количестве лайков в секунду. Я понял, что этот показатель зашкаливал на 33-минутном откровении о том, как я однажды щупал за жопу. Это выглядело бы жёлтой беллетристикой, если бы не было хорошо задокументированной, проанализированной и осознанной правдой.

Все три часа идущие на поправку тяжелораненые из числа призванных на фронт умственно отсталых не обращали на меня никакого внимания.

Пытался повеситься на подтяжках олигофрен майор-особист Серёня, но всё время падал со стула, на который становился, чтобы, размахивая помочами, заарканить лампочку на длинном шнуре, однако ловкости не хватало, а навык ещё не выработался.

Десантник с позывным Матросов полтора часа бил лётчика с позывным Гастелло прикладом укороченного автомата по копчику; затем они менялись, но «Гастелло» бил «Матросова» по коленным чашечкам и не прикладом, а рукояткой табельного пистолета Стечкина.

Кавалеристы из СМЕРШа и заградотряда им. Государственной Думы первого созыва на приличном американском пели хором песню группы «Нирвана» Smells Like Teen Spirit: «Load up on guns, bring your friends / It's fun to lose and to pretend / She's over bored and self-assured / Oh, no, I know a dirty word / Hello, hello, hello, how low? / Hello, hello, hello, how low? / Hello, hello, hello, how low? / Hello, hello, hello...»

Тишайший Тихонов, денщик майора Серёня, показывая мне сразу два средних пальца, перекрикивал меня, повторяя лекцию слово в слово.

На тридцати двух предыдущих лекциях «О щупании баб в лифте» они делали то же самое.

«Три часа вышли», — закричал ефрейтор. «Но мы же договорились: ещё минуточку... я же не рассказал о...» — «Молчать, сволочь», — закричал ефрейтор. — Выносите лектора, пацаны. Сегодня без компота, сволочь».

Даже после потрясающей лекции они не соизволили ослабить на мне смирительную рубашку. Взяли за ногу и шею и, кривясь, словно я припахивающий кадавр, снесли в одиночную палату.

Лектор

Забота — вот как я объяснял себе творящееся: я, обретший душевную проказу, оказавшись на фронте, чешу языком перед ними, забритыми врождёнными недоумками.

Какое же удобное объяснение.

Но ведь и, ей-богу, забота: делай то и так, что не выворотит и не сломает тебя самого, и, быть может, воздастся: и самому полегчает без галоперидольных костылей, и они, наслушавшись, усвоят то малое, что тут всего важнее: думай только о себе, не води хороводы, есть только ты, придурок, остальные существуют лишь в момент превращения из куска мяса в «кусочек идиота», который вдруг пронизал штыком ефрейтора.

Да и сам ефрейтор... Разве он не заслуживает заботы? Когда мы перестали верить во «вдруг»?

Я ошибся, посчитав, что они не меняются: после трёхсот шестьдесят шестой «лекции» братья недоделыши наконец-то — вдруг? — стали сходить со старой колеи: когда я, заполняя пустоту перед обедом, переставил слова в сонете о чаемом нижнем белье на даме в лифте, один из выздоравливающих тяжелораненых из числа призванных на фронт умственно отсталых, танкист Добренький, прикрикнул на меня: «Вы переставили. Тут не так».

Метавший в меня ножи копатель окопов Адик (Ярик) впервые попал в меня и пустячно ранил.

Драгуны Будённых и Чапаин, спрашивавшие ефрейтора, можно ли им выйти в туалет вместе («Или хотя бы поодиночке, товарищ фореитор»), вышли в туалет без спросу и вместе, и порознь, и снова вместе.

Прежде, когда я просил у зала внимания, они резали друг дружку штыками (что забавило их невероятно) и в ус не дули, а теперь — то есть однажды — они стали покалывать. Покалывать, а не резать!

Трое адъютантов командира полка им. И. А. Сикорского всегда поочерёдно спали с маркитанткой, которая показывала

им, как, выйдя до ветру, надо снимать трусы, чтобы тебя не подстрелил снайпер. И вдруг они вдрызг разругались и сидели как не родные.

«Доктор Чехов, — весь високосный год кричал мне кинолог Карацупов, — послушайте, доктор Чехов. Можно ли лечить телесный низ окопной глиной?» — «Гонорею, что ли?» — подло уточнял я. — «Её», — стыдливо отвечал он. — «Можно». — «Спасибо». А на днях случилось невероятное: собаковод подошёл ко мне после лекции и сказал, что наконец-то победил недомогающий телесный низ.

(Доктор Чехов? Кем я был... нет, кем я становился для каждого из них?.. И: неужели «лекция» протоптала к некоторым из них дорожку? Правда, что ли? Не веря в это, я прервал «лекцию» и гаркнул: «Стулья на сцену, сволочи! Семь стульев. На которые пусть сядут истинно желающие». Ефрейтор только рот открыл (неужели и он тоже?). Семеро вышли из зала и сели на стулья. «Сами читайте лекцию о щупаемой бабе в лифте, а я слушаю и поаплодирую, если заслужите», — сказал я.

«Портвейн в лифт!» — потребовал у кого-то майор-особист Серёня.

«Портвейн в лифте провоцирует поездку с щупающим как можно выше», — подхватила маркитантка.

«Если будет портвейн, я в деле. На какую кнопку нажимать?» — сказал землекоп Адик.

Снайпер Абдулдыбеков прохрипел: «Да ну вас в жопу» и выстрелил в ефрейтора голой рукой. Ефрейтор увернулся (и всё-таки: и он тоже?!). Зал, хохоча, устроил овацию.

«Припадочные, а всё равно смеются», — тонко подметил Абакумский из СМЕРШа.

Шестой и седьмой стул, Будённов и Чапаин, были возмущены: «Про это нельзя», — сказали они и потребовали от ефрейтора немедленно сделать мне укол. Ефрейтор послушно сделал укол, и мы продолжили.

«Прежде я не пил портвейна в лифте, а сейчас хочу», — признался снайпер. — «И я». — «И я тоже». — «И мне налейте. И баба пусть хлебнёт». — «Сбегайте же кто-нибудь за вином, — обратился к залу майор, — потому что реквизит уже кончился».

«И командира грохните, — крикнул из зала тишайший денщик Тихонов. — Потому что я почему-то в окопе, а они ни разу». — «Сейчас грохнем». — «И правда, отчего бы не грохнуть». — «Я в деле». «Дайте восьмой стул. Представим, что это командир». И они стали подползать к ефрейтору, чтобы захватить его врасплох.

А восьмой стул произнёс моим голосом: «Не дам вам больше ПРЕПАРАТА, сволочи, и вы вернётесь в окоп, и снова станете убивать». Они потухли взорами и стали рвать на себе тельняшки. «И портвейн твой теперь не нужен. Он всё равно выдуманый, нарисованный и не ломает». — «Дуй его сам, сволочь». — «Выйдем же из лифта, ребята». — «Мы ПРЕПАРАТ выпили и стреляем, стреляем. А портвейн в лифте отчего? — оттого, что где-то, на каком-то этаже есть НЕПУСТОТА: дверь, коврик под ней, на который можно лечь, а если откроют встать, протиснуться внутрь и увидеть Дочь». — «Я никогда не видел Дочери». — «Простите, командир». Командира целуют в губы по очереди. По залу удручённо носится бледный конь.

Они соскакивают со стульев и сцены и залезают на коня, все семеро, дама впереди. «Кататься!» — «Лошадка!»

Конь на скакивает на командирский стул, командир падает замертво, ПРЕПАРАТ катится со сцены в зал, но его никто не собирает, потому что я кричу голосом бога: «А вот кому портвейна. Принесли новый портвейн». Они оборачиваются, вытирают выделения и заворуженно слушают меня.

«Портвейн — говно, если пить вне лифта», — наконец, произносит майор. — «А лифт куда приезжает? — спрашивают они хором. — А там, куда он приезжает, есть его дочь? А моя? А мой сын? А убитая мною по неосторожности жена?»

Тут я совершаю поступок: прошу ефрейтора налить полную зелёную кружку портвейна и поднести её к моим жадным губам; выпив портвейн одним глотком, я сажусь в лифт. Они бегут, чтобы успеть заскочить в лифт, но тот закрывается...

За это «достижение» на следующей лекции мне вручили сержантские погоны и сняли с меня смирительную рубашку. «Не подведи, — сказал ефрейтор. — Теперь ты годен, как и я»)

И только рядовой Блюдов из ополчения по-прежнему пытался доплунуть до меня. Я прикрикнул, глядя в его пустые безумные глаза: «Ну-ка прекрати», чего хватает всегда, всегда достаточно: они просто переходят к следующему делу. Но он продолжал плевать. И я прикинул, что дело тут нечисто. И я понял, что никакой он не олигофрен, а служебная сволочь, которая пишет по мне диссертацию «Он действительно слабоумный, который не нужен в окопе, или это игра? Его лекции — это поток сознания или наигрыш?»

И я вспомнил, что теперь на мне нет рубашки.

И я спорхнул в зал, и выхватил у Адика сапёрную лопатку, и зарубил аспирант-плевателя, проникшего в наши ставшие мне дорогими скорбные умом ряды. Я со справкой, ничего хуже смирительной и фронта мне не будет, зато одним будущим доктором философии стало меньше.

И меня опять упаковали в смирительную, перед строем сорвав с меня сержантские погоны; и я снова стал «условно годным к нестроевой».

И я опять читал свои славные лекции перед обедом.

Почему они так со мной? Вернее, зачем они так со мной?

Они менялись. Не сразу, но это происходило.

Вот зачем. Меняться им нельзя; ни к чему им меняться; меняться — это лишнее, это новое.

Сначала я, кстати, не понимал, что творю, не знал, что это забота; думал, что им лучше так, слушать эту бесконечную лекцию, чем колоть штыком чучело Тараса.

Читая ту лекцию, я держался; я подавлял все раздражители, но плеватель не был раздражителем, он был провокацией и имел служебное свойство: я вывожу его из себя, он крепится, но потом сдаётся — и убивает меня тем, что я убиваю его: меня снова утроенно закалывают, меня упаковывают, меня добивают.

Этого не вынести. Олигофрены, даже ложившиеся на амбразуру, но выжившие, — добряки, потому что испытывают терпение только простых служебных людей, санитаров, у которых нет несварения и шовинизма. А я не с рождения, я просто в их маске, которая, впрочем, приросла к лицу.

Проще всего было зарубить командира, подняв одиночный бунт. Но я другой и в приросшей маске: я лечу и растлеваю их лекциями, в которых между строк есть немые слова. Нормальные их не слышат, а олигофрены впитывают, и потом, как выяснилось, в них прорастает.

Кто кого? Стану ли я ими — или они поумнеют, выправятся, очнутя и, чёрт возьми, обратят штык? Не знаю. Но, раз за разом читая им свои бредни, которые всё же нежнее реальности (ну кто будет щупать в лифте, вычислив правильную даму, если её просто можно изнасиловать?), я верю, что им станет лучше, а меня пронесёт.

Они в самом деле уже не те: семьсот тридцать одна лекция, — и они смотрят на меня, стоящего в смирительной рубашке на столе, который стоит на сцене, очень, очень умно, когда вдруг начинают маршировать по залу в один из заветных моментов моего словесного поноса. Они преобразаются, как преобразается плюшевый медведь, которому сто лет подряд пять поколений детей поют колыбельную голосом медвежьей мамы: сначала плюшевого колотит, потому что его мама так не пела; но потом, потом... И именно тогда, через сто лет, начинается плюшевое счастье: никто не посмеет отнять мишку у бесконечно веснушчатой девочки, не бросит в грязь, не оставит под дождём, ибо медведь, проникшийся новым родителем, наконец-то стал нужен новому родителю, и тот, та порвёт за него глотку тем, чей голос, поющий колыбельную плюшевой игрушке, чужд ей. Не мамин.

И с сержантскими погонами они ошиблись. Во-первых, в тот же вечер я съел их, сварив с мёртвой курицей, которую

задушил после повара ещё раз. А во-вторых, какой я сержант медслужбы, если я пожизненный лектор.

Я отступил от себя, я посмотрел на себя, я себе понравился: время и место таковы, что так лучше, а зарубить командира мы всегда успеем. Главное — чтобы он наконец-то безмятежно уснул...

...этот ефрейтор, который тридцать три раза подряд выкладывает в «Инсту» один и тот же получасовой фрагмент. Почему он так делает? Разве он перестал видеть, что это, слово в слово (не считая немых), то же самое?

Что будет, если я однажды, когда снимут рубашку, щёлкну перед ним пальцами? Даст ли он мне коды для ядерного чемоданчика? Расскажет ли главную военную тайну? Продолжит ли он щупать в лифте? Начнёт ли щупать в лифте? Ужаснётся ли тому, что когда-то щупал, а теперь не может?

Вымазав лицо манной кашей, я осторожно спросил у ефрейтора, что он думает о женщине в лифте. Он ответил.

Ганс Бидермайер, ффриц

Мой средний сын, кроме родного :-), знает три языка; немецкого среди них нет, но есть грамматически близкий голландский, и, если судьба забросит его в Берлин (а она способна), он, я знаю это, через полгода будет трепаться (хотя к трёпу не склонен) на немецком со столичным акцентом. Моя младшая дочь профессионально знает два языка, один из них немецкий. Мой старший сын говорит на английском.

Но они — апельсины, а я, увы, всего лишь осина, так и не выросшая выше недоумочного школьного, гм, шекспировского. Он помог — но помог ли?

Я знаю, что выше неправильно употребил прилагательные «средний», «младшая», «старший»; просто я хочу усыпить ваше внимание этими вздорными неточностями, чтобы потом, когда внимание ваше очнётся, оно стало столбнячным гвоздём, на который вы наступили в тонком китайском кеде.

Я знаю, что в немецком нет фамилии Бидермайер (Biedermeier). Но мне так запомнилось.

Удивительно, но в 1976-м я уже был. И был я умненьким дурачком, который ещё не знал, кем станет, любившим Пушкина, а через Пушкина — Анну Вячеславовну Т., которую не видел уже три года. Только что выгнав из дома отца, я зачем-то восхотел добежаться до первого лыжного разряда. Лыжам мешали лето и тёплая осень, поэтому я целыми днями азартно бегал без лыж, попутно азартно собирая грибы; изредка прибегая домой, я варил собранное, а потом жарил, чтобы завтра выбежать в леса с рюкзачком бутербродов с грибами. Местность под ногами была родной, подмосковной; иногда, добегая до Киевской ж. д., я садился в электричку, чтобы носиться-и-собирать в калужских чащобах, но это были скорее вылазки. Хотя калужские грибы мне нравились больше всего: всегда в избытке (увлёкшись ими, я забывал о подмосковном квадратно-гнездовом беге и просто чесал и топтался в направлении грибных закровов) и не такие цивилизованные.

Господи, я потом посчитал: тринадцать слов, кроме капута, данке, их, бин и четырёх гутенов (морген, таг, абенд и нахт), я знал чёртову дюжину немецких задорных кинослов и выкриков. Нихт шиссен отчего-то чесался на языке первым. Комбинируя их, можно если не сказать, то хотя бы смутно донести горячую юношескую мысль. Геноссе, юнге, цурюк, шнеллер, хенде хох, шайзе, арбайтен, ауфидерзейн, ферштейн, форвертс и, конечно, хальт со швайном. А ещё беглый англошкольный, потому что родного в той ситуации я почему-то застеснялся. То есть испугался. До коликов.

В конце концов после неизбежных недоразумений мы поняли друг друга.

Но теперь, спустя сто лет, я, конечно, сглажу всё недоуменное речевое до доходчивого русского пересказа. Разве что нихт шиссен останется нихт шиссенем.

Я скакал, а он лежал на пути, выставив пулемёт на сошках в мою прицокивающую набегающую сторону.

1976 год. Октябрь. Запущенное полубабье лето. Мальчик, бегущий краем среднерусского нарского леса. Фашист на его пути, целящийся в него из ручного пулемёта на сошках (потом я узнал, что это был MG 34, Maschinengewehr).

— Стой, пацан, — сказал фашист. — Дальше дороги нет, только смерть.

— Нихт шиссен, товарищ, — прокаркал я и сел на корточки, и упал на карачки, и начал блевать, и блевал, и блевал, пока весь не вышел.

То, что гад настоящий, я поверил сразу.

Он им и был.

Только вряд ли он был гадом.

— Нечем мне стрелять, пацан. Это понты. Патронов нет. Это октябрь? Это под Наро-Фоминском? Я запутался: наших нет, а ты бежишь такой юный и довольный. Лило страшно, — и вдруг сухо и солнечно. Что это значит? Где я? Кто я? И кто ты?

— Гитлер капут, — опрометчиво сказал я, вырвав из себя все бутерброды с сыроежками и опятами.

— Да что ты говоришь, — проорал он и ещё раз сложил меня пополам, замахнувшись пулемётом.

Грязным, тощим, вымотанным, неуверенным он был. Он даже не бил, а только замахивался. А потом ещё и извинялся:

— Прости, это непроизвольно.

— Нож, — я показал на нож в его сапоге.

Он отдал мне нож:

— На.

— Документы? — попросил я.

Он показал мне документы:

— Вот. Ты доволен, пацан? Ты русский, пацан? — спросил он.

Я замял эту тему; до сих пор я не произнёс ни слова по-русски. Зачем ему знать, что я русский?

— Ганс, — сказал он.

— Тит Флавий, — сказал я.

— Очень приятно, Тит.

— Очень приятно, Ганс. Было страшно, а теперь приятно. Спасибо вам.

— Тит, ты можешь объяснить, что с нами? — спросил он. — Пожалуйста.

Говорить, что это не какая-то там лихая военная година, а 1976-й мне было страшно. Я и не сказал:

— Тут недалеко Нара. Давайте я смотаюсь, там есть межгород, я дозвонюсь до мамы, и мы всё решим. Мы втроём, вы, я и она, поймём, что с нами такое. Хорошо?

— Хорошо, — сказал он. — А там есть почта? Вчера я написал одной девушке письмо, его надо бы отправить. Ты отправишь?

— Я отправлю. Не уходите отсюда, я сношусь, я быстрый. Окопайтесь, спрячьтесь иначе — но, если что, ни хт шиссен. Мама накормит вас, и мы разберёмся.

— Ты приведёшь ваших?

— Каких ещё наших, Ганс...

— Не приводи ваших, Тит...

.

Нара, а дозвониться — удалось.

— Фриц Ганс, мама, — выдохнул я. — Настоящий фриц, я встретил в лесу Ганса. Мама, ты понимаешь?! ты слышишь?

— Егорушка, что ты несёшь? Какой ганс Фриц? Ты опять сломал ногу?

Коверкая слова, я начал читать ей письмо, которое не могло быть отправлено.

— Это его вчерашнее ещё не отправленное письмо: октябрь 1941-го! Он попросил бросить его в Наре в ящик! Чернильной ручкой! На линованной бумаге!

— Господи, — сказала мама, подумав и попросив «прочитать» письмо ещё раз. — Господи.

— Мама, он настоящий. Таких даже в кино не было. Он в форме. У формы такое сукно. На сапогах такие подковки, с

такими гвóздиками. В каске. В шинели. Он с пулемётом. Он белокурый. Он голубоглазый. Он зачуханный. Он ничего не понимает. И он хочет жрать. Мама, его бы супом. Мы возьмём его домой, ты накормишь его супом, и мы во всём разберёмся. Он подарил мне нож. Ты же знаешь немецкий.

— Я знаю немецкий, но я не хочу на нём говорить. С ним тем более.

— Мама, о чём ты говоришь? Мама, парню лет двадцать, года с 55-го, как Серёга Воронков. Ты помнишь Серёгу? А в его документах написано: «1923».

— В каких документах? В солдатской книжке? В Soldbuch?

— Наверное. Я не знаю. Там ещё ФИО, вес, рост. Рост совпадает, мама: у меня 185, а он сантиметров на десять ниже, и написано: «175».

— Господи. А какие войска, Егор? Что написано о войсках? Неер или Waffen SS? Есть там эти две подлые скрюченные буквы?

— Кажется, только Неер.

— Хорошо. Я привезу ему одежду. Ну не может же он в своём ехать в нашем автобусе. Я накормлю его супом, и мы во всём разберёмся. Я буду часа через четыре, не раньше. Или даже через пять. Развлеки его, сыграйте в крестики-нолики. Будь гостеприимен. Не фыркай, не показывай свои худшие стороны. Жди меня... ждите меня. И — расскажи ещё раз, как вас найти.

И мама заплакала.

— Почему ты плачешь? — спросил я. — Я не понимаю.

Потому что.

Через много, слишком много лет я узнал то, о чём мама никому никогда не рассказывала.

В пять лет мама попала в оккупацию, и не просто в оккупацию, а за колючую проволоку, во временный немецкий лагерь. Там погибли её мама, моя бабушка, и мамин младший брат Толечка, которого нечем было кормить.

Мама не приехала ни с одеждой для фрица Ганса, ни без, ни через четыре часа, ни через пять.

Мама собралась с силами и позвонила человеку, которого я три месяца назад выгнал из дома. Отец позвонил своим, и «свои» приехали через три часа.

«Свои», автоматчики в штатском, крикнули мне: «На землю, парень, отползи от него подальше и не шевелись». Потом автоматчики в штатском крикнули на немецком фрицу Гансу: «Подними руки, солдат, и стой смирно».

И расстреляли его.

Меня положили в их больницу. Я молчал. «Зубы или разговоры, — сказали они, — выбирай». Я молчал. «Значит, зубы», — сказали они и потащили меня в зубоучебный. Я молчал, но упал в обморок. Потом упал в обморок ещё раз. А они всё водили меня к стоматологу. И я сдался (у меня непереносимость этих штук; я уже почти умирал от этого лечения; я больше не хотел умирать в кресле в зубном кабинете, мне это надоело).

Я рассказал им всё. Они всё и так знали, но с удовольствием выслушали и дали подписать бумаги. Вот теперь я должен был молчать, и пожизненно. Ладно, только не лечите мне зубы.

За это мне дали Красную Звезду. Орден. Товарищ Брежнев с трудом нацепил его на меня в каком-то кремлёвском закутке и приложил палец к губам.

Боевая Красная Звезда за то, что донёс на заблудившегося во времени человека.

Варварство

То, что деточка в розовом, размахивая разбитой винной бутылкой, не пускает никого на горку, чтобы кататься самой, одной, в удовольствие, до позднего вечера и материнской истерики, это ещё не варварство, но самообожание. Варварство, и изощрённое, со сверхплатоновым телом Русский Снег (отчего человек со странным паспортным именем Снайпер, Х. М. Снайпер, содрогнувшись, пишет в дневнике наблюдений за живой и мёртвой природой: «Какие эти нынешние всё-таки негодяи»), начинается, когда трое деточек в голубом возюкают деточку в розовом головой и неизбежным сопливым носиком по снежной целинной корке, выписывая проникновенное послание будущим деточкам в розовом, прилипшим к экранам окон: ТАК БУДЕТ *ЛЯ С КАЖДОЙ. Надпись образует довольно правильный квадрат, вершины которого указывают, что не надо делать. Утром некий ранний бобик сумеет вписать в квадрат довольно правильную окружность, а потом, погуляв, опишет плоскую геометрическую фигуру с диагональю шагов в десять ещё одной окружностью. Снайпер Х. М. отметит, что «летучие следы бобика, сделавшего свои геометрические дела, ведут в третий подъезд». Прицел для этого наблюдения не понадобился, — ещё зорок невооружённый взгляд тов. Снайпера Х. М., капитана ВДВ в отставке. «Моноширинность печатных букв, использованных деточками в голубом, оставляет сомнения и желать лучшего, но зато умело употреблён третий элемент, воздух, и квадрат в целом недурён», — дополнит наблюдение отставник Снайпер по зрелому утреннему осмотру-и-размышлению. «Можно ли лечь на нынешней снежной корке и не продавить её массой моего тела? — задал себе вопрос Снайпер. — Думаю, можно. То есть деточки в голубом не просто возюкали, но долбили корку головой деточки в розовом, проявив известные силу и находчивость. Какая татарщина, какие монголы». Днём трио ветеранов войны взяло окружность, описавшую буквенный квадрат, в размашистый мочевого круг, сообщив всем и каждому неустоявшимися исполинскими детскими почерками: МЫ

ПОГИБАЛИ ЗА РОДИНУ А ВЫ ТУТ ЖИРУЕТЕ ВЫХОДИТЕ БУДЕМ ДРАТЬСЯ ОДИН НА ОДИН И ТРОЕ НА ТРОЕ СТАВКА ОДНА И ЭТО ЖИЗНЬ СМЕРТЬ ПРАВИЛЬНА И НЕОБХОДИМА КАК ГОВОРИЛ КОМАНДИР ОСОБЕННО ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ РАССТРЕЛЫ ПРИ НАРОДЕ. «Ну а как ещё с этими? — крикнул учитель начальной подготовки Х. М. Снайпер в форточку. — Постарались ребята. Молодцы ребята. Хорошие ребята. Без рук ребята, а вон какую годноту сотворили». Бобика, который днём в нескольких важных местах обмочил ветеранский крик души, Снайпер Х. М. обругал последними словами, а ветераны, отставив напитки и встав со скамейки, приманили, задрали, пожарили на липовой ветви и, делясь нахлынувшим ощущением подлинного фронтового счастья, весело уписали. Капитан запаса Снайпер занёс в дневник наблюдений: «Собака поступила подло и необузданно. Собака получила своё. Хозяин, собака, тоже заслуживает». Потом пролетел самолёт — разбрасыватель листовок. Тов. Снайпер («Никаких господ, товарищи дети, смело называйте меня товарищем»), выставив руку в форточку, наловил целую охапку, ибо листовки падали с ясного неба густо и долго. Текст был типовым, уже приевшимся: «Капут Омерике». Х. М. Снайпер считал, что давно пора печатать и разбрасывать новые: «Капут Омерике от ливня ядерных ракет родины!» Когда листовки улеглись, вышла мама деточки в розовом с ведром розовой краски и написала на снегу: ВЫ ОТВЕТИТЕ ЗА ДЕТОЧКУ. Налетевшие деточки в голубом мешали ей писать, смеялись над написанным, бесстыдно мочились на написанное и клали на него кучи. Х. М. Снайпер содрогнулся и оставил в дневнике наблюдений болезненное: «Я уже не сдерживаюсь. Я не знаю, как долго смогу терпеть это. Чудовищность поведения деточек в голубом не знает прецедентов в истории русской цивилизации. Варварство вернулось. Варварство надобно искоренять». Запасшись водой и сухарями, надев голубой берет, тов. капитан Снайпер Х. М. ровно в четыре пополудни начал стрелять во всё, что двигалось в поле зрения его винтовки с прицелом с ночным видением.

Чагатай и другие полтора ивана

Пожалуй, первым это понял и применил знавший наизусть отцовское ПСС головастый Чагатай.

Однажды монголам обрыдло торчать под упрямым Ургенчем: город месяцами терпел голод, пожары, тучи стрел, но не сдавался. Хорезмшахские женщины ускоренно рожали воинов, которые за считанные месяцы вытягивались в цепких мужиков на крепостных стенах, поливающих испражнениями и терпким тюркским словом утомлённые осадные стада. Когда разложение затмило монгольские умы настолько, что конники перестали кормить лошадей и предались сначала размышлениям, а потом самогоноварению, игральным картам и поискам женщин на территории с современную, разумеется, Францию, иной раз забывая вернуться к подъёму и новым атакам и диверсиям, Чагатай повесил 49 тысяч выстроенных по росту человек из 50-тысячного осадного войска и зачитал новую главу из Великой Ясы, которая приснилась ему накануне:

«Помни, солдат: города не сдаются и выкарабкиваются из самых тяжких ситуаций, а потом побеждают, если среди их защитников есть воины-великаны. Все на борьбу с бойцами-мастодонтами негнибавемого Ургенча!»

И, посулив высокие подъёмные и командировочные, нанял у Виннету, сына Инчу-Чуна, лучших лучников современности, которые начали многомесячную охоту на хорезмшахских гренадёров, оттягивающих неизбежный конец Ургенча. Апачи выпустили тысячи прицельных стрел, погубили всё живое и двуногое, но город держался. И лишь когда пал первый полтора ивана, а за ним второй, а потом, ещё через полгода, третий, город сшил из белых окровавленных рубах великанов флаг и выбросил его со стены в гущу спящих картёжников, бабников и пьяниц.

Смекалка Чагатая и подвиг его войска были воспеты в мириадах золотых монет с изображением Чингис хаана и надписью «Чагатай бол ухаалаг охин!» («Чагатай — умничка»). (Будете в Ургенче — покопайтесь в его окрестностях: за час-другой отыщется с десятков искристых денежек. Но вывезти найденное не получится: потомки чингизидов рубят левую руку прямо в аэропорту им. Түүний хүү Иван Царевичийн — и отдают улетающим откопанные монеты. Что вам важнее?)

После этого прозрения монгольская армия приросла собственными «баскетболистами» (их искали, словно будущего Далай-ламу) — и стала непобедимой. Помните, кто разгромил Роммеля на перевале Кассерин в Тунисе? А кто последовательно освобождал Сталинабад то от басмачей, то от Красной армии (чтобы потом, впрочем, влиться в несокрушимую-и-легендарную. Оттого, несомненно, и несокрушимую)?

Да, да! Чёртова армия должна иметь полоторных иванов, иначе — не видать ей победы.

Полтораиванный танкист Николай «Один в танке» Маленький — ни одного ранения, ни одного попадания в машину, одни лишь ордена и медали за уничтожение превосходящих бронетанковых сил противника, одни лишь форсирования рек сходу и взятие же сходу городов — в одиночку (а) ему самому не хватало места в машине; и б) никто не мог угнаться за его Т-34) добрался до Вены, где от скуки загулял и повернул назад (за что был схвачен и иронично застрелен во сне самым плюгавым, 140-сантиметровым, следователем ГУЛАГа по фамилии Великанов; но это другая история).

Пехотинец Василий «Полтора Ивана» Обьедков, донской казак со среднекорейским (после лёгкой операции) лицом, в тяжёлый час пришедший на помощь товарищу Киму, не целясь, как заведённый стреляя от живота из «мосинки» даже не разрывными, за один бой убрал с неба семь звёздно-полосатых

асов, как и Вася, загримированных под. И это только одна короткая серия в длинном сериале. По сути, именно полный кавалер Ордена Славы сержант Обьедков вынудил напуганных Ли Сын Мана и американскую военщину к переговорам. (Василий Игнатьич, ставший к тому моменту благородным Объектовым, как всегда, в стельку, вваливался ко мне домой, соскрёбывая головой побелку с потолка; я заматывал его макушку бинтом, разливал и, ни разу не заскучав, слушал его рассказы о забывшей о Чагатае амвоенщине, которая тысячами косила китайцев, а его — ни разу: «Ни разу Ваську не тронула. Не могла. А Васька, или, как меня тогда звали, Ёнчжу, ей подло не спускал». Тут Василий Игнатьич начинал рыдать: «Простите, простите, простите меня, павшие американские сэры». С его блёсткого литого солдатского лица стекала акриловая краска, оголяя сквозные раны, порезы от бритья столовым ножом и корявую косметическую операцию 1951 года; слёзы точили гимнастёрку, оголяя могучую оловянно-свинцовую грудь. «А маршал Даву, князь Экмюльский, не проигравший ни одного сражения? А вдохновенный Лавр Георгиевич Корнилов, генерал от инфантерии? А пара летунов из Люфтваффе, пока их не приземлил Ванька Кожедуб? Вот с этими у меня была бы только смертная ничья, ибо и они ломали головой дверные косяки: я — их, а они — меня. Ничья-с, тов. маршал Советского Союза».)

·
Я не хоронил его. Меня не было тогда в городе.

·
Оказывается, они тоже смертны. Но с ними, пока они мальчишки, можно и на Кремль.

Если, конечно, останутся. Если выживут.

Мало их, и кругом одни великановы.

Н, княгиня

Сашеньку выслали одним махом — и, быть может, навсегда. А её не тронули: на цепь в дому, заставив лаять, не посадили; грязной бранью по щекам не били, упрёками в петлю не совали; а слёзы всё равно капали: никогда больше с Сашенькой. Весь декабрь лились и январь подтапливали; мокрой курицей не ходила — шаркала.

А в феврале, уже округлившаяся, вспомнила, что хотела показать Сашеньке, который, конечно, забегал бы к ней и в тайне, и с визитами. И она чудила бы перед ним. Хохотал бы, довольный.

И — стала выходить, выкатываться в сады и леса; людей, лошадей оставлять и по снегам прогуливаться, чтобы доверить ему, несуществующему, свои находки.

Липа, говорила она себе, но как будто ему, никогда не станет сыпать снег на упавшего в её тени. И валилась под липовыми ветвями. И просила человека стряхивать, стряхивать с липы наносы и даже сугробы. И те неведомым образом скашивали лёт, минуя лежащую. Затейливо обрамляли.

«И другие деревья тоже, Сашенька». И человек Ваня взбирался на высоченную сосну ни с чем: соскальзывал, клялся, что не может, высоко, но есть необыкновенно цепкие вещицы, кошки, и вот с ними он сумеет. Ну так носи своих кошек, говорила Н, и Ваня скакал в город в поисках этих кошек, и в полдень возвращался, и вспархивал в привезённых железках к снеговой сосновой вершине. Ни один сосновый снежок не попал в неё, «а одинокие снежинки, Сашенька, не считаются». И: сосна обрамила её иначе.

«Так ветер же дул, барыня». — «А давай Ваня...» — «А давайте, барыня». И берёзка туда же: роняла снег по-своему, Н не задевая, забирая княгиню в выразительную овальную раму. «Il n'y avait pas de vent, madame!» — «Je te l'avais bien dit, Vanya».

«Я же говорила, Сашенька».

А ещё, Сашенька, обращалась она к недостижаемому, снег с дерев рисует на снегу на земле удивительные узоры, видишь? И просила у Кули бумагу и карандаш. И до сумерек, бегая от одного своего дерева к другому, делала зарисовки. «Барыня, руки же, цыпки же». — «Салом, Куля, смажу, и никаких цыпок». — «И правда».

«Сашенька, вот и ещё одно чудо, которое я мечтала тебе приоткрыть».

Но было и третье. И следующее за ним было. Третье — сейчас же, а следующее — много после.

Вспомнив его беглую руку, N рисовала на снегу под тремя бело-чёрными деревьями милый профиль. Последний, под берёзой, вышел лучше всего, но какая разница: ни один из Сашенькиных абрисов не был погребён под клочками и комьями. «Надо же», — кричал с сосны Ваня.

«А о прочем, Сашенька, похваюсь тебе летом».

«А теперь, Ваня и Куля, будем веселиться. Я говорю: раз, — и мы...» И падали в сугроб лицом N, Ваня, Куля. «Я говорю: два, — и мы...» И падали спинами в сугроб N, Ваня, Куля.

Потом они долго искали хороший склон, с которого можно... Наконец, находили. И N, разбежавшись, взлетала в небо синичкой, и Ваня с Кулей возвращались в город одни.

В июле, став уже колобком, она, изумлённо повторяя: «Надо же, лето. Надо же, с детства не было, и вдруг», прикатилась на зимние места и явила Сашеньке последнее из диковин: там, где она под липами, соснами, берёзами падала в снег, «и лютики-то особенные, и ягоды, каких нигде больше нет. Я их, Сашенька, и названий-то не знаю». И просила несуществующего Сашеньку присмотреться к невиданным растениям со всем вниманием. И ненапрасный час каталась около его зимних профилей, всё увеличивая круги. Но нигде других таких ростков не встретила.

А попались ей в тех же заветных местах только монетка, бусинка и крестик как новенький.



4'33"

Музыка
ДЖОНА КЕЙДЖА



Отбой (Tattoo)

$\bullet = 132$

The musical score consists of seven staves of music in 2/4 time. The tempo is marked as quarter note = 132. The key signature has one flat (B-flat). The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. There are two triplet markings (indicated by the number '3') in the sixth staff. The piece concludes with a double bar line.



Затопят города

Едва родившийся уже торчит у зеркала: мама, папа, шампанское и ошалевший от земных воздуха и притяжения бутуз смотрятся в, гримируют неудачные места, бреются, стригут портновскими ножницами густые брови, учатся улыбаться, хохотать, как клоун Карандаш, и дружно кричать магическое слово «сыр», которое делает последующую фотокарточку если не ведовской, то целительной: прикладывая её к глазам до конца жизни, можно не только выжить, но и сто́ит выживать. А крикни телефону: «Голландский», — и всё насмарку: всё счастливое трио со снимка спивается до сорока, сорока и двадцати; или записывается на войну, где из него в первый же полтавский день соорудят полтора метра бруствера, из которого будет торчать немытый ствол мосфильмовской трёхлинейки. Перепуганные июньские птицы пристывают к небу, а Мазепа накладывает в шаровары по ревматические колени.

Едва родившийся любит в зеркало с восхищённым криком «агу». Гравитация клонит звуковую волну из зубастого рта долу, но прежде тухлый воздух разносит её по окрестностям. Так рождается самум. Так рождаются изрядные всходы, которые собирают семь раз в год. Так рождаются дожди, питающие агу-поля. Из свежесжатых агу и кварцевого песка из муховнинского карьера «Сказка» льют стекло; на амальгаму в пять смен пашет полуночный Норильск; Внутренний Улан-Батор берёт эти стеклянные овалы в правую и левой наносит на них беличьей кисточкой амальгаму, — и семь миллиардов карманных зеркал отправляются в магазины планеты. Для помещиков и капиталистов шевелящие бантичными губками отражения украшены многогранными алмазами; для всех остальных они несколько кривы: карлики видят в зеркалах длинные европейские лица с дворянскими родинками и чертами, угрюмые — африканские улыбки, бесшабашные — парламентскую серьёзность, воины — неминуемую смерть, ибо только смерть заставляет их подчистую вырезать сёла и пгт.

Так рождаются снега, так налетают метели, так наступает Царь-Зима.

На этом зеркала зашторивают, замазывают грязью в три слоя, бьют о головы, бьются в них головами, выбрасывают вниз на едва родившихся, летящих на стройных ножках с ледяной горки. Так возникают менингит и скарлатина. Так появляются тоска и ртутный градусник. Так занавешивается Луна и запрещается Солнце. Из СНИПов исчезают дома с окнами, а стены новостроек теперь облицовывают толстыми свинцовыми плитами, которые до поры удерживают альфа-частицы.

Ибо кто-то так и не отошёл от зеркала, так и не занавесил его, так и не разбил его кулаком. Я назову его так грубо, как только умеют в Серпухове: Одна Падла, но это, конечно, преувеличение, надо бы Одно Ничто, но ваша... наша благословенная газета воспротивится и поправит сначала на Одну Сволочь, а потом, после моих демаршей и выкобениваний, на Одну Пустоту.

Так, в полной темноте — друге полной X- и Y-хромосом молодёжи — слепнут уже четырнадцать миллиардов.

Сколько-сколько нужно диоптрий среднему плоскоземельному землянину, чтобы рассмотреть своё отражение в разбитом зеркале в комнате без окон и карманного фонарика?

И с этим, дорогие кроты, нужно что-то делать.

И: зачем вам зеркала, если вы слепы?

Ваш среднерусский корреспондент Бодхидхармов (по телефону).

Я диктую это машинистке «Новостей Брайля», чья собака-поводырь зовётся Гомером.

Это непросто. Сначала я снимаю трубку с телефона, на диске которого есть не только цифры, но и русские буквы, и долго-и-нудно, на разные голоса зову оператора. Иногда оператор находится: «Оператор», — выпевает оператор томным драматическим сопрано. «Барышня, — заискиваю я, — помогите инвалиду, соедините с газеткой для слепых, но

духом ещё не павших, которые пробавляются по такому-то номеру». — «Соединяю, Ваня, — говорит оператор. — Ваня, вы в варежках пишете свои статейки?..»

«Мы получили свежий социопатический отчёт, — обычно говорит мне машинистка. — Тебе интересно? Короче, ни одна новость вот уже четверть века, то есть при этом козле, не дочитывается до конца: в) из-за мигреней, возникающих на первых двух строчках; б) от невыносимой скуки новости; а) из-за неумения читать. Ты знал?»

Газета замечательная: машинистка отняла у кого-то тонну старых газет и в одну из вылазок отбила у AI-дальнобойщиков ротапринт, умеющий печатать на Брайле (фуры мчались, но она на всём скаку...).

«В конце концов они научатся читать, — говорю я. — Главное не сдаваться, печатать и печатать». — «А ещё распространение: вот бы суметь подсовывать под каждую сущую дверь». — «Это да».

Это тоже непросто: тридцать тысяч курьеров, разносящих «Новости Брайля» подписчикам и просто так, угрожают редакции, что без казённых болотных сапог они переметнутся на «Телерадио Брайля». Сапоги — вот настоящий вызов нашего тёмного времени: нечистоты выбрасываются в домовые отдушины, и скоро они достигнут высоких этажей. Сапоги и, конечно, лодки. А вёсла всё-таки необязательны.

«Обожаю твои юморески, Бодхидхармов. Они скрашивают». — «Целую твои корифейные ноги, шэф. Кстати, чем ты кормишь своего поводыря?» — «Да чем придётся. У меня тоже есть *кстати*, Бодхидхармов: ты заметил, что мы постепенно перестаем понимать дурнотные запахи?» — «И уже перестали замечать свои кучки задними лапами».

Она, по её словам, ставящим все точки над «и», ещё не перестала, но уже подумывает. «Затопят гаррада-а-а...» — запекает она. — «...помой из окна-а-а...» — подхватываю я.

Никаких окон, впрочем, нет. Врёт старинная народная. Давно не нужны.

Товарищ Киров

Скурив всё, я берусь за пепельницу. Если теперь подняться из-за стола и побежать-побежать, чтобы, прыгнув, убиться о стену, только бы никогда больше не слышать передач «Телерадио Брайля», дым, заместивший, гм, воздух, перепишет Ньютона. Называется «левитация»: если удастся опрокинуться — разбиться не получится. Похоже на гамак на самой мускулистой ветви самого атлетического дуба: птицы, населяющие крону, из любопытства выпархивают, бия крылами, поднимают ветер, — и тебя укачивает. Девушка, вам же к сорока? а ложитесь-ка рядом. Девушка, там у меня книжка осталась, «Матначала натурфилософии», не подадите?..

Выдающиеся великорусские философы [десть имён, похожих на клички], сообщило «Телерадио» под пионерские горны, открыли на кончике [финского] пера разрыв [дыру... нет, пролом: долбились, долбились — и прошибли. Как ваши лобные доли, ребята?] в пространственно-временном континууме, через который можно попасть в иное время всего-то со скоростью паровоза [иные пространства их пока не волнуют; но — ждём ходы к планетам α Центавра].

И?

И теперь родина формирует первый желдорсостав, вагонов «на семьсот»: ведомый паровозом, он отправится напрямиком в 1934 год. Уже до обеда эшелон будет на месте.

Для?

Для того чтобы, «возможно, развеялась нынешняя Тьма». Они на это очень-очень надеются. Нам поможет Дыра, которая «однажды изменит текущую грустную действительность». И никакого вправления мозгов уставшему населению: «Мы проснёмся ранним светлым утром — и нас встретит новый счастливый мир, товарищи. Да падёт мать Тьма! Все на сбор аутентичных товаров для эшелона!».

Товаров?!

Товаров-товаров. Как-то: «Иголки для стареньких [тогда новеньких] коломенских усталых патефонов, пластинки на 78 оборотов с тремя главными речами тов. Сен-Симона,

чугун в чушках, инструкции по выявлению Леонида Николаева, солярка, металлолом, трактора, посевное зерно, мука, картошка, ложки-тарелки-салфетки, мыло». Надо ли расшифровывать? Иголки-пластинки — для воспитания серых масс-34 в духе светлого будущего. Чушки и металлолом — для индустриализации. Солярка, трактора, зерно, мука, картошка, ложки, мыло — чтобы не дошли с голоду и от инфекций. Поезд остановится в районе обеда, тамошние налетят, разгрузят, и «ситуация станет чуть лучше; да что там, много лучше, кардинально другой».

Ну а Николаев им чем помешал?

Убийством товарища Сергея Мироновича Кирова. «Нельзя дать застрелить Мироныча в коридорчике! Именно после этой трагедии началось ужасное. Так остановим же подлого Леонида Николаева». Целые вагоны инструкций и фотографий: «Увидел Леонида Николаева — донеси немедленно, а если не позволяет совесть — деморализуй будущего убийцу Мироныча, показав финский нож, впившись руками в горло, выдрав из мостовой булыжник, уколов будущего убийцу, не выпустив воздух из шприца, многозначительно указав ему на уличный фонарь...»

Умиротворить массы-34 мукóй и обнаружением душегуба надо до?

До 1-го декабря. И если, заходится «Телерадио Брайля» (но не ржёт в свой жирный голос), вы, не проснувшись 2-го декабря, почувствуете, что вас больше нет, сообщите об этом родным и близким, которые донесут властям, «которые примут все необходимые меры». Потерпите же, вдруг стёртые с лица пространственно-временного континуума товарищи. Ну пожалуйте.

А если гада Николаева не остановят в этот, гм, заезд?

На это «а если» у выдающихся великорусских философов [десь имён, похожих на клички бойцовых собак с хорошими родословными] есть план: научиться изымать тамошних детишек на благо будущего, воспитывать их в нашей Темени в лесных спецшколах — и, разумеется, забрасывать их, возмужавших и правильных, обратно. Глядишь, и Мироныч выживет, и народец одумается, и нам полегчает.

Со скоростью паровоза! Уже до обеда! Сосёт, сосёт [герцеговинофлорину] г-н Минковский!..

Не отпускает меня табачный дым: убаюкивает. Засыпаю я, дорогая редакция. Разбуди меня в декабре 2-го. А не сможешь — не плачь по мне.

А у вас есть чугунные чушки?

И пусть сегодня экваторианцам впервые за 77 лет привидится солнце.

А почему не Николая Ивановича? В нём единственном было что-то человеческое...

Ваш среднерусский корреспондент Иван Бодхидхармов (по барышнефону для «Новостей Брайля»).

«Оператор, оператор, о, пе, ра, тор!..» — «Тута я». — «Вынимайте штекер, барышня, я всё». — «Есть рассоединить». — «Нет, девушка, погодите». — «Чё такое?» — «А вы правда девушка?»»

Вишнёвый сад

Получить в наследство вишнёвый сад и снимать с него сливки — мечтательно лежать на раскладушке под цветущей сенью; кропать в самой глубине стишки о том, как, собрав ягоду, изойдёшься в переживаниях, куда деть эту прорву; набравшись наливки из ягод первого урожая, заблудиться и заночевать под деревом, прежде позвонив родным: «Я тут, но я без компаса. Да не знаю я, Аня, где я. Отыщете же меня. Пустите Фирса по следу. Заморозки же», — это одно. Но потом приедет машина «Хлеб», и будет другое, и будет не до сада, — говорят, лучшие из них до сих пор оснащены системой нагнетания выхлопных газов. Сад в лучшем случае отнимут, в худшем — отнимут и спялят за строптивость вместе с вареньем и наливкой в подвале усадьбишки.

Неужели «Хлебá» до сих пор на ходу? — Неужели.

Впрочем, эти затхлые грузовички на лендлизовской платформе теперь не только редкость, но и, гм, высшая мера. Не доводя дело до греха, можно покататься и с ветерком.

Разуваем же глазонки, на которых нет шор. Вот по городу короткими перебежками скачет нехитрый ПАЗик с многократной хохломской надписью и даже росписью «Шахматная федерация». Он часто перестраивается в крайний правый ряд в самых неприметных, а то и неожиданных местах, весомо сбрасывает скорость, открывает двери, — и в них запрыгивают невесть откуда взявшиеся шахматисты: всякий раз трое, один из которых молод и не по-шахматному спортивен (кулачищи, ноги в футбольных бутсах), второй — опытен и не по-шахматному прост (с чекушкой в нагрудном кармане засаленной токарной спецовки и дурацкой столеточной шашечной доской под мышкой), третий (сейчас это третья) — в чёрном мешке на голове. Примерно с той же периодичностью первые двое гроссмейстеров покидают уютно мурлыкающий розенбаумом салон; тут автобус сбрасывает скорость до общечеловеческой, чтобы подуставшие Алёхин и Капабланка не сломали хребты, выпрастываясь у булочной, винно-водочного, стадиона или ресторана.

У ресторана? возле казино со стриптизом? рядом с винно-водочным? Но разве шахматисты не русские люди (пусть и с самыми неожиданными и захватывающими корнями)? разве после многочасового вскрытия защиты Каро-Канн им возбраняется поболеть за «Спартак»? вусмерть ужраться и разогнать кухонным ножом, тыкаемым в собственное брюхо, домашних по соседям? поставить семьсот семьдесят семь вишендолларов на чёрную двадцатку? Люди-люди, русские-русские, а их форма и исполнение не так уж и важны, главное — чтобы всё воспроизводилось из поколения в поколение: чтобы ружья-заряжены убегали к соседям с узелками походного содержания, чтобы знали страх, но лезли под танк, выпучив от водки глаза, чтобы трогали, но только не собственных детей, чтобы, наконец, затаскивали в ПАЗик людей в чёрных «Мешках на голову», ГОСТ такой-то, швейные фабрики по всей родине.

— А мы пешечкой вот сюда... — ёрнически приговаривает молодой. — Чем крыть будете, ваше благородие?

— Если уж на то... высокоблагородие. Ну ты сходил... Учебники почитываешь? — Опытный... как это... оценивает позицию, чешет нос, теребит будённовские усы, тихо ругается детским матом. И его осеняет: — Шах, курсант.

А курсант ему: — А мы рокировочку. Слышали такое слово? Через семь ходов, товарищ Нимцович, вы будете валяться у меня в ногах, выпрашивая цугцванг...

Верещит телефон у опытного; опытный тычет в небо указательным пальцем: — Нет, товарищ Лопяхин, сад пока не отжат. Нет, гражданка Раневская всё ещё в мешке: прислушивается и проникается. Нет, зачем ломать такие красивые коленки? Она кажется нам толковой. Есть не забывать о «результате до конца смены».

— Мухой доигрываем, и, — говорит опытный.

Проиграв, опытный сгребает фигуры в ладонь-лопату, раскрывает стоклеточную шашечную доску и ссыпает в неё всю черно-белую рать.

Молодой берёт доску и трясёт ею над ухом гражданки Раневской: — Ольга Андревна, ау. Вы поняли, в чём ваш, наш и высший интерес? Готовы подписать? Вот и славно.

Дело сделано. Партия без контроля времени, минута на уговоры, и до конца смены можно предаваться безделью.

Молодой отворачивается к окну и едва слышно запеваёт по-грузински «Сулико». За окном — любимый город. Из такси, ползущего в соседнем ряду, на него таращит глаза... как её... учились до девятого класса... дылда, но добрая... Взгляды сходятся, и как-её высовывается из машины, машет ему рукой, что-то кричит. «Какие ещё шахматы?! — легко читается по её губам. — Епиходов, ты шахматист?!»

А потом (добрая, но и умная) давится смехом: — Не похож ты на Карлсена, Епиходов! Лучше бы написали: «Тбилисская консерватория»!

Молодой, не дрогнув ни мускулом, отворачивается.

Смена окончена. Молодой и опытный десантируются в заказанных местах. В автобус запрыгивает новое трио.

Единственная проигравшая остаётся томиться сзади. Скоро проигравших станет трое. Или даже четверо. И их отвезут в одно место. Сбежать из автобуса, разбив окно? — Глупость: автобус всё время в движении, на голове чёрный мешок, руки в стяжке. И даже если Ольга Андреевна вдруг сиганёт в окно ли, в дверь ли (почему не допустить невозможное?), — нет у неё на дороге сочувствующих: рядом и навстречу бегут фуры, грузовички и автобусы с разнообразными надписями: «Тбилисская консерватория», «Федерация парашютного спорта», «Стрижка котов и баранов», «Штучки Вольфа Мессинга», «Памяти Соломона М. Михозлса», «Библиотека Ивана Грозного»... Слово «Хлеб» попадаетея очень редко. «Если меня привезут в высокое здание, — мечтает Ольга Андреевна, — и оставят одну в спальнoй, я свяжу несколько простыней и, ей-богу, убегу через окно».

Какая забавная подробность: несколько гектаров вишнёвого сада, о котором выше, граничат с тем самым одним местом, о которым чуть ниже вишнёвого сада. Их всегда выгружают в одном месте. Местные сначала душевно тревожились, а потом привыкли. Повесив на осине доску с надписью «Вам туда, там станция, до города, если ходит, доведёт электричка, деньгами помочь не можем», они лишь режут у этих странных толп из машин стяжки и снимают с голов чёрные мешки.

Чёрные мешки с завязками налезают не только на городские головы. Их, правда, быстро запорашивает, и цвет перестаёт нести смысл, о котором догадываются все, но из поколения в поколение молчат.

Тьнянов

Старый пёс, посланный за хозяйкой в дальние уголки сада, конечно же, заблудился.

Он всегда так: попросишь принести тапок — шляется где-то полдня и подаёт на подносе водку, произнося стыдное «кушать

подано». «Вот зачем, Фирс?» — «Мне показалось, что так будет лучше: я запропал, а вы озлились. Злодейка скрасит». — И наливается предсмертным румянцем, ибо не по сердцу ему эта дурацкая роль, не статист он.

А плутал он неповторимо: не кругами, но прямыми и направлениями.

Пробежав губернию, Фирс догадался, что настала зима: загуляли метели, и он вместе с ними. Заныл, что забылся, просьбы опять не выполнил, но увидел травяную ямку, бесформенное до колена поднутрение в дёрне, с красивой ржавой водой, и стало хорошо. Если бы он был художником, то писал бы только этот цвет, который одолевает ещё бодрую стоячую воду в начале зимы... Напившись бесподобной влаги, преисполнился: поскакал вперёд по неведомым краям к новым горизонтам, пока смерть не остановит его, — да след помешал.

Странный дамский след. Необъяснимый, ибо где-то, верно, начавшись, он не имел конца, то есть не продолжался: не плёлс обиженно домой, не нёсся, рукоплеща, за изящным зайцем, не, не, не. Он обрывался на склоне над безымянной речушкой в три шага — и растворялся в воздухе. Как такое возможно... Фирс бросил считать галок, Фирс впервые задумался в этом блуждании. Фирс захотел знать.

След имел смыслы. След был на сносях. След пах тремя крошечными: двумя точёными девочками и мальчиком, и мальчик был головастым богатырём. След отдавал городским букетом и французским. Куда могла упорхнуть сия дама?

Старый пёс оглядел все стороны света, увидел внизу деревню, скатился со склона, перемахнул, повиснув на жерди, речонку и вскоре прибилс к жилью, которое аукало: «Санька, ты где», «Санька, обедать», «Санька, бросай горку и живо», «Санька, папка гневается».

Саньку — узрел: сам показалс, ковыляя в тепло, которое сделает ещё больнее. «Не впервые, жучка, — прогундел Санька Фирсу. — Не унывай, что рыдаю, отстанут салазки». Санки правым полозом с жгучим любопытством впились в Санькин язык. «Мамка-то, чай, Арина?» — спросил Фирс и взрыднул в

тон с дылдой. «Не, Лизавета. Кострикова. Костриков-сынок я... На холоде подлый язык железку ещё терпит, а вот дома...» — «Я знаю, — сказал Фирс. — Не любопытничай впредь». Хохотнул чернокудрый пятилеток: «Удержу не знаю. Обезьянничая».

Тут смекнул что-то старый пёс, бросил на полуслове «береги се...» мальчишку, деревню, склон, след и назад потрусил, к Пете Трофимову.

А Петя, конченный юноша, подвёл: не вошёл в подробности и сбежал из чужого — да сожжённого, да выкорчеванного — теперь сада, чтобы доучиваться, посоветовав напоследок Юрке в руку вцепиться, Юрку дурацким донимать.

«Здрасьте, Юрий Николаич, — сказал старый пёс мальчишке Тынянову, который вовсе не конченный, а зажигательный. — Занесло тут меня сдуру в одну неблизкую губернию...»

«И что же, так уж и похож?» — загорелся Юрочка Тынянов. — «Очень, Юрий Николаич».

«И родовые кудряшки на месте?» — «Из-под шапки, Юрий Николаич, лезли во все стороны, вокруг шеи завивались».

«И годков ему?...» — «Пять. Или, может, семь. Крупное дитя».

«Как папка?» — «Это смотря какой папка, Юрий Николаич».

«И на язык остёр?» — «Язык прилип к салазкам, Юрий Николаич, но, даже ревя, отвечал, посмеиваясь, иронично, егозя. Только что сальто не делал».

«К салазкам? язык?! Так это он». — «Он, Юрий Николаич».

«А фамилию назвал?» — «Костриков, Юрий Николаич».

«Костриков?» — «Её, Юрий Николаич».

«Не Матвеев?» — «Никак нет, Юрий Николаич».

«Жаль. Выходит, Костриковым каким-то всучили...» — «Не могу знать, Юрий Николаич».

«В город нам сначала надо, Фирс, а уж потом...» — «И я так думаю, Юрий Николаич. Прежде в городе вынюхаем. А в Пермскую — успеем, хотя она и непременно».

«А главное — он Санька». — «Немаловажное это, Юрочка».

В город выбрались безотлагательно. Фирс впереди кругами ходил; Тынянов сзади и теребил: «Пахнет ли упорхнувшей?»

Пахло трактирами, извозчиками, дымом, порохом, матросами, а потом только страхом и энтузиазмом, то есть дураками, обманутыми и тайными врагами. День разжимали круги, второй, а на третье десятилетие старый пёс восхитился собою, захлопал при пионерах по ляжкам: «Сюда, Юрниколаич. Здесь её запах крепче всего во всём этом необъятном чужом городе». Улица была бывшей Княжеской, а на доме — Фамилия в добровольном («Пока по собственной воле, граждане, но уже завтра») расстрельном списке. «Я знал», — шёпотом завопил Тынянов. «И я догадывался, Юрий Николаич», — заплакал Фирс.

Накопали на колхозном огороде картошки, белого вина наварили, сала от медведя отрезали — и опять в город: не скажут без еды люди ни слова, а корочек НКВД не достать, и лица человеческие, что молодое, что преклонное, и с печатью переживаний, и подозрительно пиитические, будто лиры за пазухой, а не наганы.

Потомки-и-наслышанные пили-ели, но отнекивались: озираясь, писали на бумажках, а бумажки потом в печку: «Время-то какое. Нельзя нам вспоминать, и память отшибло».

И залаял тогда старый пёс Фирс на Тынянова: «Да рывкните же на них, Юрий Николаевич». И прикрикнул на потомков-и-наслышанных Тынянов: «Да что же это такое. Вам имя святое русское, что ли, недорого?»

Те и устыдились: «Мы же весь этот век и прошлого три с лишним четверти напряжённо следили. Нам такое предсмертное поручение было дадено: ею, N, княгиней... И: скажем вам люди, картошкой жареной накормившие, неприличное, стыдное, страшное: Костриков этот, по их — товарищ Киров Сергей Миронович, внук вашего Саньки и правнук Самогó, единственной любви нашей незабвенной N и нашей, разумеется.

Ах. Но и не проверить сказанное нельзя. Семь дней поездом, потом почтовыми Тынянов и Фирс добирались до Пермских краёв, из которых отправились во края Вятские, где родня товарища Кирова Сергея Мироновича, семь дней

Тынянов / В 34-й (со шмарами)!

прображничав, языки развязала: «А Санькой он стал, как она, N, княгиня, хотела, только тогда, когда сплавила бутуза на сторону. Иначе N, князь, не соглашался». Ах...

...и ох, ибо спустя день этого самого Кирова и того. И крестик как новенький на груди не отвёл пули: пуля в другое место врезалась, а потом вторая вошла, а третья в голову точку поставила.

А отточие таково: как только построили в другом чужом им и вам (а мне — меньше) городе стену, Юрий Николаевич Тынянов через неё перемахнул, чтобы рассказать планете всё-всё. А Фирс не смог: замешкался, и.

А я, как дурак, вдруг окающим голосом какого-нибудь Писахова пересказываю вам давно малоизвестное и решительно никому не нужное, из особенностей характера обращаясь с фактами по своему вздорному усмотрению.

Это всё не наша моя фамилия и портвейн не за тем столом.

В 34-й (со шмарами)!

Девушки красили губы, шли в туалет под мавзолеем, пили красное и, выйдя на воздух, дрались до первой носовой крови: у которой не хлынет — та и достойна. Из семисот товарных вагонов, открытых платформ и цистерн один/одна с рассованными достойными будет их, будет наша. Даже одна эшелонная единица не оценима. Кого-то зароят в «Патефонных иголках валом»; взводы нырнут и сокроются в солярке; в зерне столько хороших людей может расположиться... А детали тракторных машин? — там бездна крупных полостей. А кумач на столы? а графины под воду? — мышками вожмутся в двойном дне — и невидимы. На подходе к депо взведутся, выберутся, выпрыгнут в поля на детской паровозной скорости и рассосутся. Великое подспорье местным, которые когда ещё

раскачаются, прочитав, уразумев и скурив инструкцию по выявлению Леонида Николаева. А времени в обрез. А девки — огонь: с такой оттяжкой правой-левой шагали перед тем, чьи идеалы попораны, что даже иностранные гости некрасиво плакали.

«Телерадио Брайля» ошеломило Землю прямым репортажем «Безвозвратные п.». Проспавшись в вытрезвителях города и стерев помаду, девушки загружаются в Первый состав имени Мироныча. Особенно повезло тем, кто поедет среди служебных собак, чей нюх заточен на Леонида Николаева. Девушки, вываленные в муке, выглядят трогательно. Дышать через трубку в цистерне с соляжкой — можно! В «Фордзонах-Путиловцах» бездна загашников... Некоторые девочки пытаются пронести в эшелон эклеры и пудру. Нельзя, и девочки понимают. Но ответственные лица обеспокоены: только что размещённых девушек высаживают: «Всех, всех на воздух! Будем шмонать и приструнивать! Приготовить замену отъявленным!» Собаки сбивают дев в стадо и гонят в обширное здание Киевского вокзала. Марш «Прощание славянки» рвёт душу зрителям самых удалённых уголков нашей плоской планеты. Девушек просят раздеться. Мы снимаем это скрытой Брайль-камерой.

«Лошадь, никаких брильянтов и презервативов, — командуют сержанты и старшины, смеша девушек. — На шпильках? В мини? Вон отсюда. Сейчас же замените послушной крестьянкой... Снимай коронки: кариес — лучший друг пионера... С телефоном? С телефоном?! Кого вы набрали, остолопы? Парики, шиньоны, украшения, детские кожаные ботиночки сдаются без разговоров!..» Девушки не унывают; даже голые даже на краю неведомого они радуются жизни: вот стайка воодушевлённо обсуждает тонкости инструкции по выявлению Леонида Николаева; а эти поют под гитару старинную балладу «Возьмёмся за руки, подружки».

Распорядитель кричит в мегафон: «Ещё раз о том, можно ли вступать в половую связь». Девушки: «Знаем, начальник. Смени пластинку».

В 34-й (со шмарами)!

Распорядитель: «Меняю... И помните: если нам с вами удастся спасти Мироныча, может статься, мир переменится до неузнаваемости, а вас — не забыли? — завтра тут никто не ждёт, ибо пока это невозможно». Девушки смеются: «Понимаем. Устали уже понимать. По доброй воле и из альтруистических побуждений, начальник».

Ещё вчера пловчихи, космонавтки и поэтессы, они готовы и ещё раз клянутся.

Старинная походная песня «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новосёлами и ты и я» рвёт душу зрителям самых удалённых уголков нашей плоской родины.

Пока шёл шмон и замена на покладистых, выпал снег. Девушки, выстроившись в колонну по две, топчут глубокую колею до путей и красавца состава (говорят, это самый длинный эшелон в истории нашей плоской планеты).

Всё. Их рассовывают окончательно. Больше мы их не увидим. Как же их много, русских красавиц, ставших первопроходками.

Матери плачут сухо и гордо. Цветы всего мира летят под ноги этих стоических матерей.

Первый вагончик уже тронулся... В 34-й, красавицы! Счастливого пути!..

Кто-то сравнил этот подвиг с миссией на Плоский Плутон: дурацкое сравнение! Там, куда отправляются эти беззаветные инкогнито, нет ни мам, ни шпаргалок, ни хорошего нижнего белья, ни связи, ни шансов, ни нравов, ни цивилизации, ни ближнего космоса. Но как же благородна задача. Во имя всего плоского человечества. За это стоит нажраться. Откупорим же бутылки, товарищи».

«Итак, мы живы, — написал мизогинистский листок “Новости Брайля” 2-го декабря. — Следовательно, хвалёный Мироныч сдох. Оглянитесь, пожалуйста, вдруг кто из ваших канул. Остались ли лично при вас ноги-руки? В зеркало заглядывали после 00:00? черты те же? узнали себя?

Нас, может, уже и нет, но сегодня мы есть (!). К счастью, у них не получилось. Нет-нет, сволочи, Мироныча, конечно, безумно жалко — как жалко любое тупое двуногое, бросившее

себя в топку паровоза, но ещё жальче себя, нас, не всех вас, но двоих-троих. Слава Минковскому, мы продолжим весело гнить в вонючей темноте полураспада теллура-128.

О шмарах-спасительницах, которых они куда-то отправили (может быть, эшелон, дойдя до края Земли, просто рухнул с утёса, и теперь мешается под ногами у слонов?), хорошего не скажем. Это были... шмары. Хоть одна взяла с собой Пушкина или Чехова?

А почему бы не отправить следующих шмар, наверняка, отнимавших у детей телефоны и двугривенные, выданные мамой на холодную школьную котлету на просвечивающем куске чёрного хлеба, к кривичам и их дружкам вятичам? Пешком и голыми. Чем раньше внедрение, товарищи, чем надёжней результат.

А Осипа, вы, сволочи, спасти не хотели? А Блоку, которого я проклял после «Двенадцати», лекарство передать не думали?

Мы ничего не знаем о героических шмарах (и знать не хотим, если только они не рухнули с высот в слоновьи испражнения, измазав свои русые косы. Тогда мы хотели бы сочинить о них «Поэму Конца»), но представить и даже, извините, экстраполировать, можем и вольны. Из ничего, из шмар, укатанных паровозной сивкой-буркой до железнодорожной болезни, когда не выbleвав — не доживёшь до крушения, ибо остановки никакой не было (не предусматривалась), кривая, намазав губы красным, нагло тянется в ничто. Но даже в этом ничто и никогда ничто ни за что и никогда не умирает: я ясно вижу в одной из наших (ваших!) мавзолеевых приёмщиц парада дурочек-в-никуда двуногое женского пола, которое каким-то образом пробралось из 34-го в наши пасторальные времена.

Это она, я узнаю её по подмигиванию: она плюнула мне в суп и съела мою 7-копеечную котлету, а, повзрослев, била меня в тамбуре, когда я умолял её перестать дымить мне и людям в лицо. (Да. Да, я тоже врезал ей лыжей — но потом предолго залечивал травму, которая существовала только в моей голове. Обычное дело в нашей сахарорафинадной семейке.)

Детская память — кристалл. Моя особенно.

Говорю вам: это она.

Откройте архивы, сволочи.

Мы ждём перемен.

Ваш корреспондент», бла-бла-бла.

.

Красить губы начали все, даже не девушки. Самый модный помадный цвет — с самой скабрёзной кличкой: «Раздвинь ноги ещё шире»; вкус «остаётся по-любому, как ни три, как ни выполаскивай». С Плоского Плутона передали ······ и пояснили: «Простёртые к солнцу руки Джордано, на которых покоится Плоский Плутон, понемногу опускаются». Дети соседнего бандустана по-прежнему играют в пристенок с детьми Серпухова на окаменевшие окурки, найденные в недрах Беломорско-Балтийского канала. Бывает, матери баюкают малышей. Над колыбелями всё ещё можно встретить плакат «Ты сможешь». На пластинках иногда поёт Каллас. Представляете, как бы ей пелось, если бы Земля вращалась и вращалась против хода пластинки?

Только в плечо

...ну или «Великодушно простите, но, пожалуйста, только в плечо»; или так: «Никуда кроме плеча»; а также: «Помните о плече: только губами». Этот нехитрый зимний закон знают все, впитывая его, прочитав свою первую книжку: слова о плече неукоснительны на задней обложке; чаще всего их формулируют так: «Встретив автора или его главного героя, приложите к нему (к ней) губами, но только к плечу». Разумеется; само собой. Зачем? — бог весть; так повелось; никто не спрашивает, для чего дышат, а это то же самое. А ещё — но это не проверено и, скорее всего, суеверие, — только-в-плечо помогает в годы холеры: корреспонденты с мест пишут, что в прошлую холерную каденцию многие только так и исцелились. Но Nature об этом до сих пор ни гугу. Не понимаю.

Писателей в зимнем краю, как собак. «И те и другие почитаются туземцами как полубоги, — сообщает Моро де Бразе. — Открыто об этом не говорят, но подразумевают, что некогда оба существа положили начало зимнему племени, а об их чудодейственности теперь наконец-то узнают и в Париже: даже квёлые изображения из “Огонька”, висящие по углам их однокомнатных домов, согревают души и стены; лай трёх собак отгоняет метель; вой стаи — закатывает луну; незамерзающие чернила нарасхват, хотя любая лавка ломится от бочек с ними; собак, как и писателей, кормят, что называется, на убой (двусмысленно) и самым лакомым; телеги для передвижения писателей по краю бесплатны; собаки бегают сами по себе и где хотят; бешеных собак и исписавшихся писателей пристреливают. <...> Тайга подходит вплотную к их жилищам и нередко поглощает дома, но её не рубят, ибо и так тепло, и так сытно, и так весело. <...> Несомненно, диковаты: до гильотины им ещё века; хотя в счислении лобасты: однажды, покупая ведро раков к сбитню, я, по привычке, попытался обмануть юного приказчика, а он, взглянув на мой неполный мешочек с денежками, тут же выговорил правильный результат, полученный из головы, и смотрел по-волчьи, и потянулся за финским ножом, и моя проверка запрошенной им цены на манжете совпала с нею до третьего знака после запятой, которую они называют рeті. <...> При всей их безудержности в лавках, как в опере, гардеробы; тулупы висят, валенки стоят, по карманам никто не шарит, валенки на свои валенки, чтобы незаметно уйти, не надевают, в пролётках под ноги и в метель не сморкаются. Лишь с туалетами плохо. <...> Возмутителей и урлу умерщвляют изобретательно, не без веселья и аплодисментов, не дожидаясь осады Оренбурга и встреч у Сбера для передачи платёжного пароля: крупная женщина налетает на злоумышленника, ложится на него, и уже через три пересыпания полутораминутных песочных часов тот замирает; рукоплескания зрителей следуют. <...> А вот чёрных воронов в краях зимнего племени сбивают на лету: папуасщина, в которой я так и не разобрался, а посему

не одобрил. <...> Хоккей на льду, ещё одна их забава, которую следовало бы перенять, появивсь у нас лёд: шайба, пущенная загнутой на конце палкой, проломив зрителей, стены, летит вёрсты и только потом успокаивается, убив зазевавшегося. <...> Я всем сердцем полюбил это своеобразное племя».

Не без предвзятостей, этнографиченько, но довольно точно, не правда ли? Спасибо, мусью Жак (либерте, эгалите, фратерните!).

Да и куда ещё Его можно чмокнуть: только до плеча и дотянешься, расту-то в Нём... В губы, да, было бы незабываемо, но и только — ибо признательности, надежде и чуду места касания безразличны. Признательность выражается и утоляется; надежда крепнет; чудо случается чаще обычного. Люди светятся, приложившись. Люди отчаявшиеся надеются пуще прежнего. Люди выздоравливают. Люди научаются писать. Собаку гладишь, гладишь, а прибавляешь только в правописании, — а тут сразу рождается стихок.

И опять обратимся к г-ну Моро де Бразе: «В среднем одно стихотворение, рождающееся после заветного поцелуя Его заветного плеча, можно отнести к выдающимся, вещи навсегда, оно попадёт в учебники. А уж если целует Он, да в губы... <...> Плечи лобзают у многих писателей и их героев, но в Его плечо губы впиваются чаще всего, повсеместно, массово и с неопишуемой нежностью, а не по привычке. <...> В голодные и бранные годы, которые тянутся тут десятилетиями, пробуя на бритвенный зуб поколение за поколением, только плечо и спасает. <...> Да, они придумали озимь, но и их зима придумала не кончаться. <...> Губы протираются обеззараживающей тряпкой, вымоченной в дёгте; справка от лекаря обязательна; первичный осмотр проводится выборочно, обычно каждого пятого; очередь к Его плечу не расходуется несколько дней, пока её не разгоняют конные жандармы; отлучиться из очереди считается родовым позором; вне специально оборудованных мест с полевыми кухнями и кострами, целование невозможно,

но всегда можно подстеречь Его около дома, заскочить к Нему в пролётку, записаться на Его проводы в ссылку и бежать за Ним до Торжка, выжидая момент, выпрыгнуть Ему на голову таким чёртиком из воздушного шара, метнуть под экипаж детскую адскую машинку, заставив Его выскочить, и... Пойманному жандармы рвут ноздри и клеймят его плечо позорным ОН ЦЕЛОВАЛ ЕГО (на правом) БЕЗ ЕГО ВОЛИ (на левом плече). <...> В печальных разговорах на кухне тут часто звучит почти библейское: “И собаки смертны, и мы откинемся, и его физическая оболочка, увы, не вечна; и дыхание у всех нас с собаками, даже у Него, одно; и ничем мы, и даже Он, не лучше собак, ибо всё пустое, кроме поцелуя, запечатлённого на Его плече”».

.
Простите же за длинные цитаты.

.
Только в плечо.

Он снова увлёкся, опять загорелся срочно жениться, завести детей без счёта, дожить до смерти в глубокой старости от грустного сна о юности. Срочность порыва требовала быстрых денег, то есть чёса по городам и весям с заголённым плечом: сначала правым, потом, на подмену, отдохнувшим левым. Он морщился от одной только мысли, что опоздавшие к плечу потом будут полгода метать под его экипаж щадящие адские машинки, но у новой любви были запросы и даже закидоны. Надо. Должен. Обязан.

Впрочем, что Ему деньги. Что, наконец, Ему новая любовь с её милыми бзиками, если каждый поцелуй придавал Ему силы, а все вместе — силы неведомые, выдающиеся. Ибо писать начинали не только они, эти тысячи и тысячи, но и Он. ОН СНОВА МОГ И ХОТЕЛ ПИСАТЬ.

Вот для чего вся эта утомительная слюнная пачкотня.

Парадокс: только после чёса Он переставал чувствовать себя мощами.

И, само собой, деньги.

.
А вот и ответ Моро де Бразе на вопрос, который вы уже обзадавались, а я будто оглох: почему нельзя было заслониться

своими героями, а самому стричь купоны и в ус не дуть? У них вон сколько плеч для горячих народных лобзаний.

А про, см. выше, вдохновение вы уже забыли?

Во-вторых, «к тому моменту Он издал только первую главу, поэтому пока не решался отдавать Е. О. на расцеловывание до засосов и чесотки. Не считал Е. О. (а остальных персонажей и подавно) готовым к тяжёлому испытанию. Думал, что загордится, зазнается.

Что же до всем известной урождённой мадам Полторацкой, то и она в то время не могла подставить вместо Него плечо (плечико, конечно): мадригал был написан позже, а опубликован и вовсе через пару лет».

Крепко подумав о предстоящем хлопотанье плечом, Он сказал: «Да ну к чёрту» и больше у неё не был.

И ни одного стишка о ней не оставил.

Вьюга («Метель» занята)

Звали (звали? меня? и когда же? и куда? и кто это вдруг?) повесткой; в повестке любезное: «Верёвки для вашего удобства протянуты повсеместно; крепко держитесь и дотащитесь». Какой бензин был у Пáлаха? какой карабин у Зельцера? Их и взял: канистру и ружьишко с отпиленной дульной дылдой.

При слове «повестка» мне теперь дурно, и рвота не помогает, я теряю гордый человеческий облик: повестка, — и у ласкового барашка из лохматой спинки торчит уже взведённый ключик, и все четыре ножки сами находят градусы, минуты и их секунды, указанные в сучей п. Бе-е-е. По ветру трусят ладно, ходко.

Нет, не мне была эта п. (простите, не могу выговорить — выворачивает, хочется биться и бить) — а тому, кто возник после меня, в тот же день въехал, припевая, и припевал, и припевал, мешая спокойно бояться, таиться, думать.

Я ныкался в тесном подполе, подняв полы во всей квартирке на, гм, комфортные полметра; в доме стало приземисто, давяще, но терпимо; набегающих ментов и понятых, промышленяющих забриванием, жена просила беречь лбы. А всё равно сыскали, ибо по ночам ходилось мне на... плохое жаргонное слово... ликвидации (так лучше) и из ненависти, и пропитания для... «Из ненависти» применительно к любовнику А. С. П. звучит невозможно, а вот поди ж ты: испытывал и ходил на эксы и... поступки.

Я бы вешал их, как хороших мальчишек на Сенатской, но нет у нас такой площади, и плотник я паршивый, чтобы раз, раз, и заэшафотило в пространстве, и патрули, а напарник тут немислим: напарник теперь сдаёт сразу же, потому что вымерли напарники, оставив барашков с запасом рвотных пакетов. Бе-е-е.

«Сдала» напарница. Любимая вдруг купила странное: чернила, которыми теперь пишут или похоронки, или купленные фальшивые справки «Не годен», или воззвания. Я писал листовки, не меняя почерка. Вьюга трепала их, даже насмерть приклеенные, и растворяла в твёрдой воде, но белые пятна маячили, и кто-то, наверно, мысленно воодушевлялся. Пришли по покупочке, полы (и фальш-стену, за которой я стоял, когда не мог уже лежать), как всегда, не заметили, жену сгребли, отправили, теперь, верно, «воюет». Собаки меня любят, виду не подали. В пол, конечно, постреливали, но ни разу не.

В квартиру немедленно вселили сволочь, сволочь и их совместных детей: дети на слух понравились, а сволочи их портили криком, матом, телевизором, и в первую же ночь я выбрался. Сволочей связал и заткнул, детям почитал наизусть любимые куски из «Метели»: девочка плакала в конце от счастья, мальчик всё время приплясывал от удовольствия; потом пробубнил им самый страшный стишок современности, которая уже набухла-сочилась нынешней жутью, но ещё ковырялась в носу, думая, куда поворачивать:

*Пенис как мера длины казармы,
анус как мера объёма фаллоса:
простоволосые дети, налысо
бритые, с панцирного плацдарма,*

*коек уже обросших мальчишек,
сходят такими взрослыми гуннами,
что железáми слёзными, слюнными
не похваляются, а излишек*

*возраста меряют прикидкой членов,
жадно запроваленных в них ребятами:
сколько до комнаты с автоматами
пенисов в дырках шальных нацменов?*

Пробубнил и даже рассказал, о чём (стишки необъяснимы, но шестилеткам это нужно, шестилеткам я могу себе позволить): они его, зелёного солдатика-татарина, насильовали и угрожали, угрожали и насильовали, а он их, гм, дедов, пострелял, не выдержав, не сумев стать овечкой. Ну то есть вот-вот постреляет... Плакали прегорько и, тут же, устав, свалились; во сне плакали тоже. Сварил им манную. Вымазались!

И отправил их с запиской стучаться в двери: «Тётя соседка, мы ушли от родителей, которые скоты, приютите, пожалуйста. Мы будем послушными-послушными. А если нет — то лучше убейте нас на месте»...

Нет, сначала я, как балаганный дурак, наигранно спросил у них: «Ой, а что это?» — «А повестку папочке принесли». Я слышал: топали, били ногами на глазах у сволочи его мерзкую бабу, чтобы не думал, что может не прийти, потом молотили его — лапами в кастетах, потом крушили квартиру, ища настойку анаши в денатурате...

Спросил и отправил их в новые восвосяи. Пусть хотя бы попробуют. Потому что такие родители им не нужны. Теперь у детей может и должен быть выбор; теперь можно всякое, а это более всего.

Не меня, но п[овесткой]. Требовательно вызывают, и про верёвки «для удобства» тоже есть.

А эти вещи, наполненная канистра и заряженный карабин, — как Г-дь в помощь.

И пошёл я по п., полученной мужской сволочью накануне. Канистра, карабин. В пищиковской кепке, в которой чужого видно, а за своего волнуешься: как же ты так легко в такую веялицу, брат? на-ка те шарф, уши-то замотай.

С детьми вон что творится; жена уже, верно, окапывается; прятаться теперь негде. Дорогие карабин и канистра с 76-м, у нас с вами встреча с обидчиками чужих детей, любимой, моего человеческого достоинства, покойных тараканов в подполе и мирных обоев в цветочек за фальшивой стеной. Постараемся же.

Вьюга (метель уже занята) метала икру на баллы сильнее всегдашнего. Опа (южак — это где-то, а у нас опа) отрывала от верёвок с руками. Мокрый снег наращивал на отважном человеке слои.

А ещё подламывалась левая нога, ибо инвалид, товарищи: показываю патрулю полую, но внушительную железку, из партизанских соображений надетую на ногу забивалы. «Колотил с левой?» — «И всегда в девятку». Пушка под полóй; заточки повсюду; справка о геройстве на фронтах фальшивая-фальшивая, но на верном тетрадном листочке и настоящими чернилами, гербовая смазана отпечатком доньшка-другого: «Пили, ребята, извозюкал, ребята, простите, ребята, утром сметаюсь за новой», — и каждому в спину по заточке, ибо опа на три секунды поперхнулась. Три бойца — патруль: двое пешие, под промежностями деревянные лошадиные головы на палочках, чтобы родить у прохожих доверие, один на Zündapp KS750, любит возить детей, отнятых у тут же забриваемого; дети всегда заходятся, с ветерком же. Отстали, отвернулись — и оцетинились заточками. «А что в канистре?» — спросили они в голос последним. «А канистра ещё пустая: ищу машину, из которой можно». — «Ясно. Не теряешься в наше трудное

время». — «А чего это оно трудное?» — «Давай уже вали». И отвернулись.

Я перебежал по ясному адресу, да по верёвкам, но у вьюги свои планы: всё-таки оторвала от и покатила, покатила, покатила вдоль по питерской. Так я никуда и не попал. Докатился до самой городской стены, потеряв канистру, и навсегда замёрз в сугробе.

Всплакните, что ли. Я был.

Дальше было одно успокоительное. Отсчитав тысячи, но не досчитавшись сволочи из моей квартиры, менты во злобе выскочили во вьюгу, чтобы поймать первого встречного, но у вьюги свои планы: воя Фёдором Иванычем, свалила троих, двоих цокающих, одного на вермахт-мотоциклете, и покатила, покатила, покатила вдоль по тверской-ямской с колокольчиком. Так они никого и не поймали. Докатились до самой городской стены, потеряв все жизненные показатели, и навсегда замёрзли в сугробе.

Случай повторился ещё раз, а на третий новая троица выхватила с коломенской кого-то из своих и к смертности склонного спустя обойму. И он, позже повешенный, а во время повешения улыбающийся жене и детям в толпе, отстреливаясь, положил всех, кто хотел видеть его на фронте, ради забавы истерично крича: «За родину, за [почему-то] Ивана Васильевича» и (голосом Фёдора Иваныча) «Ты не жди, не жди дорога гостя, / Дорога гостя, дружка милова!» Стрелял не прицельно, от живота, а легли все (сколько же патронов у его «Стечкина?»).

Вьюга — вещь: 1) свой по своим, приблизив нашу победу (ну, или что там от неё после ста лет осталось); 2) пусть вечно, пусть в сугробе, но я впервые уснул без задних ног.

А те, что его брали, и те, что его на следующий день вешали, и те, что рвали глотки: «Давай ещё одного. Одного мало. Бе-

е-е», запрудив Сенатскую, новенькую площадь до горизонта, вымощенную за ночь, красиво пили под салютные залпы и, одевшись ряжеными, ходили по городу безо всяких верёвок, подпевая гармошке в рифму «хочется — волочится».

Это у майора-то с синими околышами?

Ничего же не знаем

«Солнце», — сказал я так, будто сказал: «Сопли». Ничего же не знаем. Отчего оно вдруг выкатилось, когда его уже сожгли и где-то на затопленном пустыре, закружившись и плюнув с закрытыми глазами, воткнули крест? Не знаем ничего. Последний ковчег, с которого прицельно палили по осаждавшим судно профессорам, брал только их, профессорских, внебрачных детей, упрямых аутистов, прекрасных скалолазов за птичьими деликатесами, что прячутся в обрывах земных краёв. Зачем они им? Фавелы не позвали, парты и семилетних детей не взяли, а менты в чёрном с топорщащимися баулами загружались контейнерами и россыпью, в сетках для апельсинов? Усмирять попов, которым не досталось ласточкиных гнёзд? Но ведь это чушь собачья, потому что у любого края по всей 2лг может неожиданно заураганить, чтобы смыть ковчег в неведомое пространство, в котором... что? как? лучше? хуже? Ничего же не знаем. Изведшийся без солнца человек плачет, а мы шикаем: погоди радоваться, не замечай его, копайся в носу, дрейфуя на надувном матрасе, — вдруг оно на секундочку перед бесповоротным закатыванием. Шикаем и чуть притапливаем: «Замолчи».

Начнут ли теперь возвращаться ковчегу? Ничего не знаем.

«Эй, — примирительно говорю всё ещё загорелому притопленному, — представь: потоп ослабеет, солнце смилостивится, войдёт в половину прежней силы... Я ничего не обещаю, просто представь, не воодушевляйся,

пожалуйста. Солнце светит, всем хорошо и жарко, хочется нежиться. Ты выбираешь лучший дикий пляж родины и в одних плавках выбегаешь из дому, чтобы поваляться до лёгких ожогов, ибо соскучился и хочешь наверстать». «А чего ты хочешь?» — перебивает он.

«Тебе не понравится: снега по грудь, вьюг, коли метели заняты, и выбежать в них из жарко протопленного домика в одном ничего: полежать, побарахтаться минут пять — и назад». «Jerк».

«Я знаю. Так вот, приняв сполна, гм, солнечную ванну, ты собрался домой, в свой хорошо проветриваемый и охлаждённый уголок. Но мажордом внезапно умер, консьерж, узнав об этом, повесился от тоски, ключей у тебя нет, ближайшая вилла в ста км, велосипеда, чтобы сделать с этого пляжа ноги, не украсть, под кактус не спрятаться, дом — крепость, в него не пробраться, небесный огонь, увлёкшись, запаливает огнетушители снаружи, и дом сгорает, солнце печёт зверски, жарит день, другой, третий».

«И?»

«У меня вопрос: почему ты выбежал в одних плавках и без ключей? Почему не оставил в сгоревшем доме прощального слова? Ничегошеньки же не знаем».

«Bastardus es».

«Зря ты так».

И это закон, а не переживание: ничего, ничего же не знаем.

Отыграть назад я пытался всё последнее время: лёжа под ливнем, переходящим в ливень, переходящим в ливень без зазора на колоратуры воробьёв, на лавочке, на которой я придумал выход: сахарскую сушь, которая бог весть когда ещё окуклится и выпорхнет, ничего же не знаем, я думал: вот плывут два мента в чёрном, гребут за мной, но я их не трону, я опалю их зноем, пусть загорают, и я кричал им, пустив жирную слюну и расстегнув ширинку: «Васи, бабы с бастардами далеко? Всё, пусть выходят в солнцезащитных очках и с кремами, сейчас запалим». Но они плевали в меня и плыли за кем-то другим. А потоп только прибавлял.

И вот вдруг.

Всё это время я считал про себя: «И — раз, и — два, и — три, и — четыре, и — пять, и — шесть, и — семь...» (на «и — десять» начинай сначала). Солнце висело на слезливом небе уже две тысячи семьдесят «и — десять», семь с половиной часов. Много? мало? Ничего не знаем.

Упавшая на спину беременная овца гибнет, если рядом нет добрых собачьих клыков.

«Что же, — сказал я, — это я виноват в потопе. Не так давно по историческим меркам я возжелал бесконечного ливня, а повода, случая или обиды, которые подтолкнули, уж и не помню. Что же, топите меня. Я не умею плавать и без доброй руки на холке утону сразу. Но. Но вдруг солнце останется? Я всем сердцем прошу об этом. А теперь топите. Прощальное слово я написал и положил в непромокаемое, вот оно, возьмите, интересно будет потом почитать. Но. Но и вы свои напишите. Потому что я беременен Сахарой, и это солнце, возможно, тут неспроста, ничего же не знаем... И вот теперь топите, если хотите. Я не буду отмахиваться ножом. Почему? Об этом я тоже не знаю. Я даже не знаю, встречу ли я, утонув, А. П. К.».

Что и как мне просить, когда Воронеж заметёт песками и варвары загадят его горячие пески волнами овечьих катышков?

Именно эта и именно она

Я бил в рынду, и кто-то подавал чай. Чай мы пили бесконечно. Когда стираешь пальцы об арифмометр в кровь, прогнозируя количество наших миноносок в новой войне, которые, сделав хотя бы один успешный торпедный залп (то есть погубив если не само вражеское плавсредство, то не меньше семи врагов на нём), не идут ко дну, но дрейфуют до окончания

войны в открытом море, пока их не заметят исландские рыбаки, невзгоде с пальцами помогает только праздник. Чай — праздник.

.
Именно эта подавала чай впервые.

.
Как и другие, она приносила самовар и свежие, всегда свежие, не вымытые — другие, чашки. Как и другие, она отражалась в самоваре и пахла сосновым дымом. Как и других, её хотелось погладить по голове и спросить её имя. Но — некогда: мы считали до крови и дули до водянки. За смену мы проглатывали три отменных тульских самовара. Мы даже кровяной колбасы не ели, только пили и считали. Новая война выходила не в нашу пользу. Контр-адмирал, который проверял расчёты, топал хромовой ножкой, бряцал кортиком, сулил самую строгую корабельную гауптвахту. Но мы были гражданскими, мы только смеялись в записочках, передаваемых друг другу, когда адмирал убегали-с в праведных институтских слезах и кучерском мате.

.
Подав всего шесть самоваров, именно эта отправилась за мной следом, когда я после всех подсчётов пошёл на Центральный телеграф, чтобы непонятной телеграммой успокоить далёких заинтересованных лиц: можете, мол, начинать, торпеды мазали, мажут и будут мазать впредь, сколько бы миноносок их ни изрыгали.

Она почти не таилась, просто держалась поодаль. Ледокольный, я раздвигал падающий снег руками и таранил его грудь. А она постанывала и отставала. Я развернулся и пошёл ей навстречу: «Я помогу. Держитесь сзади близко-близко». Она отважно кивнула.

.
«Что такое? — спросил я её через плечо. — Зачем вам это? Что за блажь — тащиться в такой снег за незнакомым человеком бог знает куда?»

«Влюбилась», — прошептала она.

«Этого не может быть», — захохотал я.

«Вы особенный», — заплакала она.

Я остановился и обернулся: плакала и не луковыми слезами.

С тарабарщиной, которая уже была в голове и которую я телеграфировал до востребования в один приморский город (из которого её переправят неведомым мне способом), было покончено. Она стояла в центре бессмысленно огромного зала. «Жду вас», — замахала она руками. Я подошёл. «Вы любите телеграммы?» — «Это были соболезнования. Соболезновать я не люблю». — «Так всё плохо?» — «Увы, да». — «И ничего нельзя поделаться?» — «Только сокрушаться». — «Кто-то из знакомых?» — «Самая что ни на есть родная». — «Как же мне жалко». — «Спасибо. Но ничего уже не поделаешь». Она заплакала. Я дал ей платок: «Перестаньте, на вас драматично смотрят телеграфисты».

Разводя снег руками, я спросил, куда её отбуксировать. «Вы же помните, что я влюбилась? Конечно, ко мне». — «Идёмте, но только до порога. Дворников у вас много? От дверей отгребают? Если нет, я найду лопату, и». — «Не беспокойтесь. В Староконюшенный, пожалуйста».

«Итак, чего вы хотите на самом деле?» — спросил я по дороге.

«Я не хочу больше подавать чай».

«Вы носили его всего два дня».

«Я хочу выучиться на ремингтонистку, я хочу стучать по клавишам всеми пальцами со скоростью зайца, я хочу быть полезной иначе».

«Очень хорошо! Я слышал о таком, но не знал, с чего начать. И, раз вы сами произнесли это заковыристое слово, то — будь по-вашему, но по-моему: как можно быстрее отправлю вас на курсы. Только вы с них, пожалуйста, не возвращайтесь, тут будет нехорошо, а там, куда вы поедете, будет спокойно. Реминг...тонистка! Очень вовремя, очень хорошо!»

«Я вас теперь не брошу. Да и что может случиться?»

«Всякое нехоршее».

«Нет, не бывать теперь нехорошему; а иначе я стану звать вас Вещий Олег [я только что подписал этим именем тарабарскую телеграмму. Как она...]. Я же влюбилась, помните?»

«Уже помню». Я замер, чтобы впервые посмотреть на неё не из кавалерской вежливости, но с удивлением и, наверное, со всей нежностью, на которую был способен.

Она была именно такой, какие вдруг — даже для себя неожиданно — говорят: «Я влюбилась».

После этих слов остальное в её облике не имело смысла. Она была... пронзительной. Я задрожал, почувствовав это в ней и... себе, — и зашёл в её дверь.

Через неделю она села в поезд до Праги, где были курсы... ремингтонистов; это были самые ближние к нам курсы... ремингтонистов; а в Нью-Йорк на курсы... ремингтонистов она не захотела. Я мог бы настоять (кто она мне? — наёмная работница, позавчерашняя, кажется, гимназистка), но... Прага — так Прага.

Месяц пролетел незаметно? — Месяц растянулся на полгода с длинным облезлым хвостиком. Мы купили два «Ремингтона». Мы считали и считали, убивая потихоньку контр-адмирала, но ничего исцеляющего не выходило. Раз в неделю я забредал на Центральный телеграф и давал стандартные успокоительные и, больше того, подначивающие телеграммы в приморский город, но телеграфистов они печалили: в них на телеграфных столбах от голода гибли чьи-то любимые коты и воздушные змеи, а я переживал за них всем сердцем. Чай мы пили в тех же ужасных количествах, хотя это была лишь тень прежнего праздника: сушки не доедались, варенья сохли, лимоны кривили и без того кривые лица. С прежней силой валил лишь царь-снег и кривили пальцы.

Наконец, она вернулась. Работы для неё пока не было, но в первый же день она села за оба «Ремингтона» и левой рукой очень быстро напечатала одно, а правой — в невероятные два раза быстрее — другое. Ошибок в «левом» стихотворении

г-на Блока и «правом» отрывке из рассказа г-на Бунина мы не нашли.

На второй день она мышкой села в самом углу, и руки её летали: она записывала всё, что мы говорили. А потом, когда мы пили чай (который снова обрёл смысл), с выражением читала:

«Господин П., отдыхая от расчётов, глядя в окно: «Человек — то, что он говорит. Наш дворник говорит о широкой окованной лопате, чистоте во дворе и водке на угощение. Следовательно, он — снег, который засыпал с горкой стакан с водкой».

Господин К., откликаясь на сентенцию г-на П.: «Но какого он цвета? Вы нарисовали его белым на голубом и белым над белёсым на голубом, если, конечно, небо было хоть сколько-нибудь голубым, но оно наверняка было ватным и молочно-матовым. Мне кажется, он вьюжного цвета и немного цвета его бороды. Уверен, она русая».

Господин А.: «Сказанное вами, господа, вот-вот обретёт плоть, и мне заранее хочется её ущипнуть. Не дворника, но ваш умелый портрет его. Что плоть и дворник скажут на это?»

Все: «Мы это говорили?!»

Невероятно смешно. Мы пихались от удовольствия и аплодировали, требуя всё новых продолжений.

Именно она воскликнула однажды, что чай уже не тот. Мы запротестовали, мы сказали: у-у-у. А она приложила палец к губам и позвонила в контору «Карл И. Шустерлинг и Дандан» и заказала — «Сколько же нас всего?» — спросила она себя и пересчитала расчётчиков по головам, — 13 настоящих деревянных санок со стальными полозьями, «потому что снег, наконец-то добравшийся до наших окон на третьем этаже, мне кажется, твёрдым, как зелёный грецкий орех. Сталь и орех, пожалуйста».

Так мы перестали дуть чай и начали кататься из окон на санках. 25 июля переходящий белый вымпел должен был

получить тот, кто въехал под копыта жандармских коней, за что они его легко потоптали. Но не получил: жандармы плакали, и наш товарищ, узнав, в чём дело, взъярился: «Война», — крикнул он нам и записался добровольцем. Больше мы его не видели.

Вместе с ней нас осталось 13, и мы по-прежнему катались.

Через месяц, в день, когда родина лишилась флота, мы катались особенно оголтело. К тому времени мы давно покончили с морским флотом, и теперь крутили арифмометры во славу флота воздушного, и его фельдмаршал, которому всё нравилось, заваливал нас воздушными поцелуями и лётными очками для счастливых санных катаний. Одиннадцать человек, уверенно влетевших под копыта жандармских битюгов, уехали из-под копыт в неизвестном направлении в одиннадцати машинах «Хлѣбъ».

Именно она сказала мне в тот день: «Я знаю, кто вы, но ничего не бойтесь. Подумаешь, какой-то флот. Я и не такое делала».

Она не дала сесть мне на санки, чтобы врезаться в конский топ двенадцатым и стать Филипповским кренделем. «Отвернитесь, пожалуйста», — сказала она и сняла с себя платье, в котором я вихляющей походкой подавальщицы, уйдя от жандармов, вскоре покинул родину, так хотевшую метких торпед.

Когда я, всплакнув: «И это всё?», влез в пахнущую ею тряпичную плоть, она хохотала.

Вот так у нас не стало воздушного флота, даже падающего, отчего лётчик-ас Уточкин выделял кренделя только в книжке Корнея Иваныча, да и то — обезьянничая Цокотухе.

Мир, труд, май

Обмен был пропащим. Но и Книжка была последней в городе. Я положил её на грудь под тельняшку и, бесшовно повторя: «Эта слабогрудая речная волокита, / Скучные-нескучные, как халва, холмы, / Эти судоходные марки и открытки, / На которых носимся и несёмся мы», последние строчки, которые ещё помнил, заскользил по М.-реке туда, где водились яйца.

Если б мог, я бы сразу обменял Последнюю Книжку на Совесть, а Совесть на Меткий Наган с двумя настоящими пулями, потому что уже завтра было 1 мая, но я не знал, как. Приходилось шастать.

Гаги несли, а бескозырка помогала. Бескозырке доверяли безоговорочно, а потому ласково кричали с берега: «Хочу Бескозырку, очень хочу Бескозырку». Я подкатывал, выдыхая: «Чё?» — «Не барское чё, скороход на гагах, а килограмм варёных яиц и одно свежее», — ласково ставили меня на место. «За чё простите».

Я снял три варежки, чтобы прикинуть на снегу пальцем (так мне лучше... верней, хитрее соображалось): Книжка при мне, килограмм варёных и одно свежее за бесплановую бескозырку... повысят шансы, когда в дело вступит Книжка...

«А давайте».

Рассовав по карманам яйца (свежее лежало, как принцесса, в высланном диванным поролоном боксе), заложил руки за спину и гордо-и-спортивно заскользил дальше. Нарисованные голландские мельницы махали мне крыльями. Ламанчская мельница суетилась особенно. Художники билбордов осатанели: забрédший под бешеную ламанчскую крыльчатку долговязый человек получил по полной: он сошёл с ума, потому что плакал от невозможности одолеть мельницу одним драчовым напильником.

Мимо скользили на парусах хваты с дровяными титанами и шишечными самоварами. «Стеклянный шарик из вашего

кармана на гранёный стакан морковного чая!» Нет, спасибо, стеклянные шарики не разбазариваю. А для попить есть наш снег.

Гаги летели без участия ног. Бушлат помогал; простреленный помогал очень; с крейсера «Очаков» помогал многократно, но мне силился помочь другой бушлат, с одного пивзаводного грузчика; вкус пива забыт, а бушлат с химически-карандашной биркой Щ-1917-2024, который носил в семи лагерях политически несдержанный дед грузчика, легко завязывал отношения меня:

«Какой роскошный Бушлат на порох для двух патронов 7,62×38», — орали с обводного берега в мегафон без батареек. «Ха-ха, — хохотал я издевательски. — Для четырёх». — «А давайте, владелец какого роскошного Бушлата».

Это хорошо, что под ним была так и пышущая теплом телогрейка.

Гаги чесали, клоунский нос помогал. На клоунский нос клевали дети. Дети были мешочные. В мешках было затоваривание, копясь в котором я потерял время, но значительно увеличил шанс. «Не дошедшие до фронта свежие любовные письма на треугольном липовом лыке! Кожаные ботиночки умершей вчера сестрички! Настоящие стальные кнопки! Белый мел для аспидной доски! Набор консервных банок с этикетками! Детский рисунок траурницы, порхающей над мамой! Половина стакана семечек из-под солнца! Только вчера отнятый пустой кошелёк в крови первой группы! Распиленная поперёк половина пудовой гири! Запах заварного крема в пузырьке! Молочный зуб Тома Сойера! Коллекция довоенных майских жуков с берёз парка Горького! Раритетные бахалка, поджига и свинцовая бита для игры в расшиши из краеведческого музея! Соус «Па де Труа», который моя новая французская мама делает моему второму русскому папе каждый день, но он манкирует, ибо занюхивает рукавом! И всё это за один невзрачный Клоунский Нос, чувак».

Дети долго плевали мне в спину, потому что испугались отнять у меня гаги. Я оскалился, как осторожно-злая-собака, и они передумали.

Гаги неслись, чем выручили, потому что догнать меня пешего ничего не стоило.

Теперь мне понадобился вещмешок: приобретения выпадали из меня, как три бутылки с лимонадом, когда тебе три и мама тащит тебя на санках в страшный мороз семь километров, убегая от папы в другую область.

Простите меня: за вещмешок я отдал свою легендарную левую гагу. Хорошо, что гага была надета на пышущий теплом левый валенок.

«А вот кому Последняя Книжка в городе, — заголосил я, добравшись на одной гаге до Ж.-реки в Клмнскм, где водились последние курильщики последнего табака. — На вашу совесть. А вот кому. На вашу совесть. Неплохая Книжка стихов. На вашу совесть. На вашу даже нечистую совесть. А вот кому. Налетай».

— «А махорочки нет?» — «А махорочки нет. Налетай же».

Они скурят Последнюю Книжку в городе, делая маленькие аккуратные самокрутки, по четыре из страницы номер 1, 2, 3, 4...

«Читать модно», — надрывался я. «Книжка ничего?» — отвечали мне. — «Очень ничего». — «Да мы и читать-то не умеем. Скользи дальше, барыга».

«Стишки, что ли?» — небрежно спросили дальше. «Ага», — заорал я. «И чего просишь?» — лениво спросили дальше, но с губ капал мёд вожделения, и я услышал эту капель.

«Совесть. Можно нечистую».

На том и сошлись и тут же разбежались.

Теперь у меня было две Совести, Больная моя и чья-то Нечистая. И одна гага. И мешок уникальной всячины, выторгованный у детей с задними мыслями. И тельняшка. И ватник, если укажут.

Шанс, как никогда, зашкаливал. Получится (!), уверил я себя. Большую — на Меткий Наган, Нечистую — на Билет на завтрашний парад лыжников на Красной. И — мир, труд, май. Выйдет, понял?

Понял. Вышло. Совести всегда нарасхват. Если бы не интеллигентничал, а просил «шмайсер», — «шмайсер» отдали бы за милую душу и бантиком перевязали б. А так — только Наган да два Патрона, один, если что в свою голову, другой — в чужую.

«Хочешь шмальнуть?» — хором спросили меня семь человек неандертальского вида (впрочем, у меня, что ли, кроманьонский?), всемером державшие вожделенный «ох, и Меткий же Наган». «Очень», — пролепетал я в предвкушении. И они, выстрелив, оторвали мне правое ухо: «Испытательный патрон за наш счёт». Ухо отыскивали, пришили дратвой на место и замотали голову: «Хороший Меткий Наган?» — «Очень хороший». — «Теперь ты похож на настоящего лыжника. Хочешь за Нечистую Билетик в оловянную колонну биатлонистов-мастеров, раскатывающую перед мавзолеем?»

Первое мая уже завтра. А ещё столько нужно сделать.

Доставка

Мы договаривались у метро, встреча всегда была у метро: он приносил — я брал; я приносил — забирал он. И блаженными расходились.

Рядом был пирожковый ларёк. Я ел пирожки, и на третьем появлялся он; два ещё тёплых отдавал ему; он делал реверанс, раскладывал на снегу газеты в три слоя и ставил на них доставку (как мы, не сговариваясь, называли это). При нём всегда были два гранёных стакана чая, чьё тепло берёт валенок: валенок старался, ничего более обжигающего я не пил. «Неслыханный

нестандарт: по 17 граней, — всякий раз уточнял он. — За такое могли и. Прадед, дед и отец, рискуя всем, выносили их из цеха, чтобы сохранить для будущих поколений. Комната, целая комната, заполнена ими до потолка. А всего комнат две». «Одно время, — продолжал я за него, — я даже хотел ограбить фуру с морожеными австралийскими баранами, чтобы купить для стаканов отдельную квартиру, но австралийская баранина куда-то исчезла. Вероятно, кто-то меня опередил». Мы тихо, но заразительно смеялись. Студентки, валившие на занятия по начертательной геометрии, вдруг тоже начинали хохотать, и перекатывающиеся волны смеха будили спящих в потоке постовых: они просыпались и начинали регулировать многотысячную толпу начертательных студенток свистком и палочкой.

«...А теперь я гоняю с вами чай у метро имени какого-то убитого кирпичом революционера». — «Бульжником». — «Что?» — «Вывороченным бульжником». — «Да, простите».

Мы пили чай, закусывая пирожками; все вокруг говорили, что они «с котятами»: «Эй, как вы можете это есть, они же с котятами». Ерунда, какие котята. Попадалась мелкая металлическая стружка, которая летела с заводов; случалось, в тесто залетал майский жук; было время, когда к мясу для пирожков подбирался кот, но на него шикали, он пугался и, роняя слёзы, убегал в цех, где тесали надгробные «мрамора́ и граниты». Оттого, верно, и «с котятами». Слёзки; всё дело в окрике и испуге изящного животного.

Потом он торжественно — перекрестив меня и доставку, — передавал её из трепетных рук в трепетные руки; я, трепеща, забирал доставку, щёлкнув каблуками; мы кланялись, как старинные японцы на картинах Хокусаё, и делали друг другу ручкой: «Покедова». Покедова всегда было через неделю. За неделю он или я, кровь из носу, обязаны были собрать доставку, иначе не было бы встречи у метро. «Может, ко мне? — приглашал он, заглядывая в мои зелёные глаза. — Ой, какие они у вас зелёные... Кроме 17-гранных, у меня есть толика

отменных вещей для питья с 19 гранями, из которых запросто мог бы чаёвничать Пересвет. Вы удивитесь...» — «К вам? с доставкой?» — нежно уточнял я. — «И правда. Простите». Вот такой он.

«Ой, погодите, — кричал он через семь мгновений после расставания. — Не одними стаканами! Они же выносили их в бережных обёртках!» Мы вновь сходились, «очень извиняясь» перед студентками, снова со смехом тряся друг другу лапки. Он доставал из другого валенка кофейник и миниатюрные чашки; кофе обжигал. «Обёртки; расскажите же». — «Да, обёртки! Газеты — ерунда; все они, должно быть, есть в Библиотеке. А вот другие бумажки... Рядом со стаканолитейным им. Его Высокопревосходительства, где трудились многие поколения мужчин моей семьи, была... есть типография. А у типографии был брак. Когда брак накапливался, типография меняла его на стаканы. Мои прадед, дед и отец нередко упаковывали брак своего завода в брак типографский и тайными тропами доставляли бла-бла-бла. Когда я подросток и был допущен в стаканную комнату, у меня случались удивительные находки...» — «Ну же!» — «По всему выходит, что в типографию приходил буянить сам юный Владимир Владимирович. Вероятно, это выглядело так: не печатайте эту чушь, я могу и уже написал лучше; а этот стишок должно перенабрать, ибо я переписал в нём вторую строфу; и тому подобное: «как выдающийся автор, я требую от вас, бездельники, немедленно и при мне рассыпать набор...» Рассыпали, гранки и пробные оттиски шли в тот самый брак. Судя по всему, похожая история была с первым и вторым изданием “Камня”: Осип, конечно, был трезв, за грудки никого не хватал, но его настойчивостью можно было прорывать фронты. И снова бездна ненужной бумаги на обмен... Заходили и Александр Александрович с Незнакомкой-с: Незнакомка читала-с гранки, фыркала-с, и Александр Александрович тут же, на коленке, что-то переписывал. Опять перенабор — и драгоценные бумажные отходы... Вы должны на это взглянуть: варианты, которых не видел никто! автографы! губы, я думаю, Незнакомки-с на

одной из обёрток!» — «За такое можно, простите, убить. Но, помилуйте, куда же я к вам с вашей же доставкой». — «Ах, да. Тогда в следующий раз».

Вот такой он. И вот такой я: прижав к груди доставку, я шёл против потока, тут же забыв о неподражаемых стаканах, обёрнутых в уникальные оттиски с правкой и маргиналиями Осипа, за которые «можно убить». Я нёс доставку, и на мне была шкура носорога. Он принёс — я взял; я принесу — он понесёт, трогательно прижав к груди и оставив за спиной все посторонние витания.

«Важнейшая из наук!» — на высокой ноте вторили своим плакатам студентки начертательной геометрии. Студентки, которым была дорога теоретическая механика, несли свои воззвания, которым вторили с не меньшим усердием.

Потом студентки непременно дрались; дело доходило до выворачивания мостовой; и всё это с огоньком по дороге на пары.

Где-то тут, наверное, была будущая вторая гражданская жена г-на К-ва, без которой он не разглядел бы и грязи на своих фортепьянных руках после выкапывания брюквы; какие уж там — без неё — ракеты-носители.

Нимбически сияя лицом, я нёс доставку, будто своего первого мальчишку из роддома. Постовые бережно разносили пострадавших студенток по клиникам для будущих покорителей дальнего космоса. Но ничего этого я не видел.

Wish You Were Here

Когда Гилмор выпевает самые первые слова, ‘So... so you think you can tell’, перехватывает горло. На ‘Heaven from Hell... blue skies from Pain?’ наворачиваются слёзы. Чёрт. Чёрт. Вместе они — медленно скручиваемое чьей-то нежной рукой моё

вдруг цыплячье горло и пронзительное слёзное влечение — наверное, составляют внезапное острое счастье... Если б только за этими несуществующими словами стояло что-то стоящее, то, что можно нащупать и применить с пользой в сучьей текучей действительности, а не одна странная физиологическая реакция.

Отвращение... я не знаю... к врагам — это ведь тоже замордованная ещё обезьяньим адамом физиология, и больше ничего, не так ли? Но его можно использовать, и оно уже используется, и в нашей «ушинской» хрестоматии это чуть ли не на первых страницах, после буквы «А» и слова «Агу», которым ты располагаешь к себе человека.

Но этот хлюпающий нос... Для чего он? Что за вздорный выверт природы... Не лучше ли разрезать красную луковицу и утопить в ней уставшие после ночной смены глаза?..

Хочется говорить... как это у кого-то... милые глупости и дать человеку воды, о которой он не просил и не попросит, а тебе всё равно хочется, но лучше дать чаю, и отправить человека за лимоном, какие лимоны в тёмное время суток, а вы отыщите, будете вкусный чай с лимоном? нате-ка, испейте, и предложить ему стул, и спросить нелепое: «Ну а дети ваши — как они?», и уступить человеку своё место, и пусть непременно положит ноги на стол и соснёт, и войти в чьё-то положение, и остаться тут на ночь, и позвонить маме: «Мам, ты как?» — «Ой, это ты... На работе?» — «Можно и так сказать. Работа, ма, это что-то тягостное, да? А мне нравится. Но — с работы. Соскучился, ма. Приеду в первые же выходные, ладно? Что тебе привезти? У меня отменное жалованье, я тебе что-нибудь выберу... Нет, ма, нет, перестань, те, которые в телевизоре, это пена на волнах, жизнь сложнее, мы глубже и мы честнее, мама». — «Как бы я хотела, как бы я хотела, чтобы ты был здесь...» — говорит мама, прежде чем положить трубку.

Спазм не проходит.

Простить человеку его несдержанность: «Иногда я слышу, как вы пускаете ветры. Это ничего. Я и сам, возвращаясь с

ночной домой, оставшись в вагоне один, если ужасно пьян, плюю, вы не поверите, в потолок. Слюна виснет плохо, а хочется, чтобы висла, застывала на месте, больше не отрывалась. Это дурно, но мне в тот момент так хочется... Я хочу сказать, что понимаю вас. Все мы немного животные, верно?» Человек наверняка промолчит, но вряд ли осудит мою внезапную откровенность.

Чёртова песенная корча из-за трёх аккордов в чёртовых наушниках.

Пойти в туалет, запереться и заплакать: сначала в голос, потом, когда начнёт отпускать, тихо, по-щенячьи. Мама говорила: «Ты так нежно плачешь...»

Музычка. Неказистая песенка на языке, которого не понимаешь. Поразительно.

Открыть бы все двери в этом неудобном доме.

После нескольких Гилморов подряд всё равно хочется ещё. Роешься. Какая-то Jordin Laine, которая заставляет плакать, и ты опять воешь в голос. Какие-то The Running Mates, берущие за горло крепче самого Гилмора. Я всё-таки припадочный.

‘How I wish, how I wish you were here...’ Господи.

Дурацкий чувак, который купил наган с двумя патронами у нашего человека, стоит в моём кабинете седьмые сутки. И эта подлая песня делает меня жалостливым.

«У меня остались полбутерброда из нашего говённого буфета. Со шпротами и лимоном. Будете? Хотите?»

«Где же, *ля, ваш ненаглядный Чехов, на которого вы только что не онанируете? Почему он не помогает вам? Я, говно, сатрап, отдаю вам полбутерброда. А что он сделал для тебя, сволочь?»

«Вы заметили, сколько снега в этом веке? Лавочки засыпаны, и никто их не думает очищать. Я скоро пойду домой. Я опять буду слушать эту чёртову песню. И опять перехватит горло. Захочется всплакнуть и сесть, чтобы подумать, зачем всё это. А лавочки...»

Вместе с тем

Приговорённый к бегу на лыжах перед мавзолеем в дни впечатляющих триумфов и воодушевляющих невзгод с молодых когтей безоговорочно верит каким-то Кошкину и Ширкевичу, сочинившим справочник по физике для техникума Ивановских ткачих. В главе «Снег» они утверждают, что коэффициент трения скольжения деревянных полозьев по снегу равен исчезающе малым 0,035 и едва ли не нулю — 0,02, — если полозья вздувается обить калёным железом.

Вместе с тем. Кошкин и др. считают снег атмосферным осадком, состоящим — я не шучу — из кристалликов льда. Из кристаллов, будто какой алмаз! Кошкин и др., вы пробовали сосать многогранник алмаза? Жажду утоляет? То-то. Исправьте, недоумки.

Воды мы не знаем; умеющие читали о ней в спецхране в волшебных сказках Проппа, смеялись, крутили у виска; инструкций о том, как её добывать, учёный кот Пропп не оставил; в общем, пустое, тщета, необузданная фантазия. Мы режем снег на 250-граммовые гранёные стаканы и грызём их, если замучила жажда; если же надо что-то запить — сосём.

Вместе с тем. Во дни оны некто Пржевальский видел воду на краю планеты и даже «поил ею слонов». Ну, видел и видел; молодец; назовём тобою лохматую лошадь, глазастый, — нам это без надобности: за годы зимней эволюции наше горло обрело черты, которые... короче, ничто, кроме снега, в глотку теперь не лезет. Назовите же им лошадь, ему будет приятно. Видел он.

Вместе с тем. Любопытно, почему он до сих пор Пржевальский? Испокон веку детей у нас называют двумя именами: мальчиков — Снежком, девочек — Снежаной. А все наши фамилии — производные от святого слова ЗИМА; почётные инородцы с позволения Хозяина награждаются кличками, однокоренными с напевным словом ВЬЮГА. Он — не наш?

Вместе с тем. Всех этих не всегда так уж заслуженных Вьюжных и иже с ними, буде их угораздит откинуться, хоронят только за пределами: высылают подводами туда, откуда они были пригнаны ВЬЮГОЙ, ибо негоже им лежать вечно в наших высоченных иглу. Наши снега — для нас. Кормят ими собак, особенно служебных? Ну, это всё-таки навет.

Вместе с тем. Снеговая линия для иглу упокоения обычно достигает надцатого этажа. А для обычных жилых домов установлена Хозяином на уровне третьего. Поэтому так популярны санки. Поэтому так почётна профессия дворника.

Вместе с тем. Что уж тут, почётная профессия опасна: вес и размеры снежинок у нас самые-самые. На выставке достижений можно видеть образцы, достигающие десяти аршин в размахе. Скомканые же снежинки, обретающие при порхании форму пирамиды Хуфу, могут убить, убивали и будут убивать. Отчего дворники и все мы ходим в касках. Или не ходим вовсе. Или бегаем, ибо, как посчитали Кошкин и др., стремительный бег на окованных лыжах повышает выживаемость, но увеличивает общую травмоопасность. Вы пробовали увернуться от снежных кулаков, несясь к финишу на школьных соревнованиях на призы Хозяина? Это трудно. Вместе с подслащенной ледяной медалью неизбежно получаешь ушибы, порезы, вмятины и трещины.

Вместе с тем. Эти «кулаки с неба», или шарики, похожие на многократно увеличенные манные крупинки из тех времён, когда Господь ходил по снегу, исключительно важны для нашей белознамённой промышленности: они сразу, почти без подготовки, идут в мороженое. А снежные хлопья, собранные в иных северных губерниях, после строгого нормоконтроля идут в столь любимые малышами «Хлопья на завтрак». Сама природа благоволит нашему здоровому питанию.

Вместе с тем. Несмотря на то что видимость во время средних снегопадений никогда не превышает 5-7 аршин,

природа благоволит также нашему цветовому зрению: оно выдающееся. Мы различаем 700 (семьсот) оттенков белого. Люди, прожившие на белом свете, отчётливо видят также серый цвет во всех его проявлениях, незаметно окрашивающий снег дымовыми трубами. И, конечно, красный, колоризирующий снежинки в первые часы посадки людей на кол.

Вместе с тем. Мы обязаны снегу нашей письменностью и просто грамотностью. До сих пор помню первые страницы «Снежной азбуки» Снега Снеговича Зимнего: «Ты сломал кристаллическую решётку изумительно красивой снежинки, — говорит Снежана. — Это непозволительно. За это тебе корячится срок». — «Не говори никому, Снежаночка, — говорит Снежок, — я склею разбившуюся снежинку и впредь буду осторожней».

Мы пишем на снегу пальцем и, в дни побед, красной мочой. Самые каллиграфические письма, стихи, рассказы и призывы нарезаются на прямоугольники А4 и бережно хранятся под двускатными крышами.

Вместе с тем. Снег благоволит не только образованию, но и сельскому хозяйству.

Ни один сугроб не может быть убран человеком, перенесён с места на место. Если снег упал — это навсегда. Но.

Некогда барон, простите за чужую фамилию, Каульбарс заметил на своём чёрном пальто необычные одиночные снежинки. Они не были красными пятиугольными звёздами, как все остальные (сложите две ладони в подзорную трубу и взгляните же на рукав вашего белого пальто): одна напоминала формой восьмиконечный крест святого Лазаря, а вторая — свастику. Так были открыты два новых вида снежинок, — и родилось снегоделие. Собрав достаточное количество снежинок а-ля православный крест, любознательный барон всыпал их на обычное снежное поле, выждал положенный срок и откопал из-под восьмиконечного снега яблоки (!) с умопомрачительно красным вкусом (!!). Теперь всякий знает, что, роя снег св. Лазаря, яблоки собирают снежные свиньи и доставляют к нашему столу.

Ну а под свастичным снежным покровом прекрасно произрастает картошка. А большего нам и не надо.

За эти нечаянные подвиги барону, простите, Каульбарсу, вопреки ожиданиям, была пожалована почётная фамилия Метельев.

Вместе с тем. Снег — это ещё и доступное мясо: семикопеечные жареные котлеты, с которыми мама отправляла вас в школу, скорее всего были куплены ею в сугробе под вашим же окном.

Вместе с тем. Для снегирей, единственных птиц планеты, снег бесплатен: они могут клевать его где угодно, сколько угодно, в любое время. Другим птицам повезло меньше: они падают, очень быстро превращаясь в снег и смешиваясь со снегопадом до неразличимости. Снегирь сразу рождается снеговым, оттого не падает, оттого пользуется всеобщими любовью и призрением.

Вместе с тем. Не меньшую привязанность мы, согласитесь, испытываем к снежным людям: бабам и мужикам.

Когда негодяи бьют снежных баб и мужиков за какие-то прегрешения, я отворачиваюсь, мне стыдно. Со многими из избиваемых я учился в школе, с некоторыми из них резал в медицинском училище трупы, я списывал у них, я любил одну такую (в нашей литературе много хорошего, но рассказы о том, какие они в постели, всегда шедевры. В кровати они — лучшие; любой мечтает о такой возлюбленной). А я всё равно отворачиваюсь.

Вместе с тем. Я до сих пор прячу одну из них в холодильнике за штабелем яиц. Слава Хозяину, что теперь их можно выводить ночью в метель на поводке. Я гуляю с ней всякую безлунную ночь в тёмных углах города.

Говорят, скоро разрешат выводить их днём в воспитательных целях, чтобы показывать детям, как они круглы и неповоротливы...

·
Вместе с тем. Не будем о грустном.

Господи, милый снег. Что мы только с ним не делаем.

«Свежий снег на тонкой снеговой ветке»: помните эту вершину живописца Снегового?

Лично я разбиваю о голову выращенные снеговые палки. Падаю, потому что удар ошеломляющий. Лежу. Подбегают люди и смеются: «Вы живы?» Жив-жив, просто ещё полежу. «Но, может, отнести вас в травмпункт?» Да, пожалуй, отнесите. Тут же лепят из снега носилки — и с удовольствием волокут. В травмпункте всегда дают вкусные целительные снеговые таблетки.

Удивляюсь, почему некоторых одолевает в снегу сонная болезнь... Я вот просто сплю в нём, не успев попасть домой из-за лавины или выдающейся вьюги. И плаваю в любой проруби, даже самой заваливающей.

·
Чтобы отдохнуть от этого сволочного снега, я часто падаю в этот сучий снег. Так я в конце концов заплачú ему дань, и за это он позволит потомкам строить из себя дома, и вьюги будут обходить их стороной.

Я падаю в это белое говно, когда слышу, а слышу всегда, как кто-то кричит: «В холодную его», — и человека выводят в холодную, и мочатся на него. В холодной срок таков: сколько протянешь. Протянул — свободен.

Я очень боюсь, но, вместе с тем, этот страх позволяет выживать на холоде и в хорошей метели.

Бесстрашно засыпает на третий день стояния в задумчивости.

А боящийся живёт, ибо у снега бесконечный век.

Опять снег (очень хорошо)

Простоял ровно неделю — и рухнул.

Если и трогали, то бережно, подкармливали, были обходительны: всякую минуту не о гоп-стопе спрашивали страшными словами — о высоких материях щебетали, в кабинете тепло, всюду уютные улыбающиеся портреты, кожаный диван, секретарь надушенная, подмигивала, записывала вопросы и его молчание, даже зарисовала его стоическое стояние на одной ноге, проветривали по расписанию, давали ходить в ведро, зачитывали трогательные записочки от жены и детей. Просто не давали сесть. В 00:00 понедельника был поставлен стоять по струночке; в 00:00 понедельника вдруг переломился в трёх местах — и как (в трёх местах) подкошенный, проломив головой ближний стул, на котором стоял стакан с водой. Стакан вонзился и торчал. Никогда такого не видели. Только трещинками пошёл. Гранёный. Тончайший барский рассыпался бы. А у этого, у нашего, своё загадочное поведение.

Оттащили стакан от головы. Дали водки. Подняли, выпрямили по струночке, потому что комиссар пожаловали-с. И заговорил.

Ну как заговорил... Прошамкал месивом на месте рта, где-у-кого Его распоследний стих, о гениальности которого сто лет талдычили, хотя никто его не видел, не читал, не мечтал ужасно. Пошли по цепочке, потому что назвал только первое имя. А имён оказалось семь. И каждое молчало. Но, простояв ровно на день дольше, подламывалось — и выдавало.

Ей-богу, секта.

Седьмой (восьмой) была дама из кремня. Ради смеха ковыряли её кортиком — ни трещинки, ни луночки. Зажигали о неё спички. Четырнадцать дней гордо пялилась, ни разу не протерев пенсне (бархоточку — предлагали).

Опять снег (очень хорошо)

84 тяжелейших следственных дня, — и стишок у нас. Лежал у неё на кухонном столе, на самом видном месте, под тарелкой с тюрей, читала, когда мы закричали «руки-вверх». Его стишок под грязной тарелкой. Нелюдь.

Вместо того чтобы гнобить Николая Ивановича, 84 дня, высунув языки, гонялись, *ля, за стишком.

О чередью бы её полоснуть.

Почерк, кстати, не Его. А бумага соответствует, и чернила тоже.

В 36-м очнулись: вспомнили о двух 37-х: о грядущем и прошловековом.

И... как это... заюбилеело, ибо Хозяин пожелал узнать настоящую причину Его смерти. Не ту, что Его травили, а она нагло изменяла, это всё понятно, травили и изменяла, а «вот почему конкретно, — сказал Хозяин, — в роковой день случилось так, а не иначе: почему Наш Парень сдох через два дня, а эта дрянь осталась здравствовать. Хочу точно знать, как изошрилась Судьба, чтобы ухайдакать Нашего Мальчика в этот чёрный для родины день. Ясно, товарищи?»

Радикалы из наших — безотносительно к поднятой Хозяином теме — зачирикали, что хорошо бы найти потомков убийцы и покарать. «А чего, — сказал Хозяин, — это мысль».

Пнули по копчику геологов, забрав их главного. И у них начались открытия.

Наконец-то, ох, выехали с совочками на место. Нежно докопались до прошлого 37-го, вырыв шурф, в котором гуляло эхо. «Снег, — говорят, — в роковой день вёл себя очень интересно». — «Не “интересно”, — поправляем мы, — а подло». — «Подло, спасибо за уточнение. Всесторонние исследования показали, что в икс часов игрек минут, когда стрелял подлый убийца...» — «Молодцы». — «...снег валил страшно, но обычно для этого времени на этой параллели. А именно: сугроб на вытянутой руке нарастал до пудовой массы за восемь секунд. Именно столько понадобилось подлому убийце, чтобы сделать

восемь шагов до барьера и выстрелить. Дальше случилось... невероятно ужасное: когда очередь дошла до Нашего раненого Парня, у снега случился форменный припадок (полагаю, мы обогатили науку новым удачным термином: снеговой припадок): снегопад вдруг утроил свою интенсивность, таким образом в кратчайший срок доведя снеговую массу на с трудом вытянутой руке Нашего Парня до невероятных трёх пудов...»

·
«Очень хорошо, — сказал Хозяин. — Что ещё?»

·
Наши тоже блеснули: вдруг отыскали 120-летнего старца, извозчика, который привёз Нашего Парня к месту смертоубийства. «Дедушка, что вы делали, когда та сволочь подстрелила Наше Всё?» — «Виноват: сидел на козлах и ковырялся в носу». Старец умер во время допроса, но успел сказать важное: «Снег».

Опять снег.

·
«Очень хорошо, — сказал Хозяин. — Что ещё?»

·
Мы восстановили роковые минуты до последней секундочки. И сделали тот же «судебный» вывод: снег. Снег это сделал, наш снег. Каким же жестоким он иногда бывает.

По пунктам.

Из благородства не стал стрелять первым.

Убийца попал Ему в живот только потому, что из-за снега рука клонилась вниз. Снегопад решил, что это будет живот. Выстрел. Стреляй он сразу, наверняка промахнулся бы.

После подлого, подстроенного выстрела снегопаду зачем-то понадобилось добить Нашего Парня (чем Он ему насолил?!). Полуживой, Наш Парень нашёл в себе силы ответить, но рука — а это была, как знает всякий в Отечестве, очень сильная рука, — не вынесла невероятного сугроба и дрогнула. Перепуганный убийца заорал нелепое «ура».

И всё.

Снег виноват. Снова он.

Опять снег (очень хорошо)

«Не очень хорошо, — сказал Хозяин. — Ну какой снег? почему снег? почему всегда снег? Не виноват он. Снег — и виноват?.. Пишите: как выяснило следствие, убийца тайно применил разрывной патрон, который тайно выпустил из пистолета американского производства марки “Кольт” M1911A1, что повлекло за собой последствия непреодолимой силы. И он убит — и взят могилой.

И всё.

Убийца виноват. Снова он».

.
Есть виноват убийца.

.
«Очень хорошо, — сказал Хозяин. — Что ещё?»

.
Его последний стишок — исчерпывающее тому подтверждение:

*Нажав на спуск, увидел снегопад.
Рука, тянувшаяся в сумерки, светала:
обшлаг пушился, а ствола обхват
седел, не уронив ещё запала,
рельеф рукавный прибирал холмы,
и те, рядящиеся в чуточные горки,
плечом в плечо к плечу из полутьмы
карабкались спроста, и я в восторге
подумал: чёрт, ведь тройка не пройдёт,
завязнет, милая, пора поторопиться!
И тут же снег осыпался вразлёт,
и деланно раскаркался убийца.*

Это всего лишь нежная жалоба на снег. Сетование без обиды. С недоумением — может быть, но без малейшего огорчения. А вот убийца назван по имени. Лучше не придумаешь.

Он продиктовал его. Кому же он его продиктовал... Почерк так и остался неустановленным.

Подшит к делу как важнейшая улика. Массам, считаем, знать о нём ни к чему. Пусть вожделеют, как вождели.

.
«Очень хорошо, — сказал Хозяин. — А хорош ли стишок? Мастерский?»

.
Мы позвонили от имени Хозяина Борису Леонидовичу. Тот, с голоса узнав руку, спросил: «Тот самый, о котором?» — «Он. Только тс-с-с». — «Вещь», — сказал Борис Леонидович и зарыдал в трубку.

Надо полагать, что мастерский.

.
«Очень хорошо, — сказал Хозяин. — А этих убрали?»

.
Потомков убийцы нашли и безоблачно — комар носа — покарали.

.
«Очень хорошо, — сказал Хозяин. — Расскажите же во всех мыслимых подробностях, не стесняя себя во времени. Очень интересно».

Приходил Спаситель

От порога соколом метнулся заяц, умной головой боднул дверь в общий коридор и колом — натужно всходила коляска — стал на узкой лестнице. «Заяц», — закричала мамочка и пропустила головастого. Заяц выскочил на улицу и запетлял к брянским лесам.

.
Не трусость, но примета, решил Он для себя — и никуда не поехал: разломал и выбросил в трёх разных полях берданку, разделся до исподнего, вернул щетину и сел строчить и чертить на полях профили. Дорогое милое дело. А друзья без него пропали. А окрестные девки одна за другой понесли. Любовь, младенцы будут отменными, но что-то конфузило, и Он писал пуще вчерашнего, а профили начинали носиться в воздухе с

одного касания пёрышком бумаги. Порхать и чмокать Его в темечко, лоб, губы, под сердце, залетев в ворот потной нижней рубахи.

Спаситель пришёл после, когда зима окрепла, глушь бежала от неё в город, побросав девок с совсем малыыми на Арину, а Он написал всё, что требовалось будущим векам.

«Здравствуй, хороший, — полез целоваться Спаситель. От него пахло водкой, он был в валенках и нечёсан, брадат до умнящих близоруких глаз, скрёб бока, но завораживал, и от троекратных лобзаний уворачиваться не хотелось. — И вот я тут. Ждал ли?»

«Не слишком», — залепетал Он и вдруг расплакался.

«Поплачь, конечно, а я вместе с тобой, — сказал Спаситель. — Без балов и игрищ, девки кончились, янтарно-кудрявые младенцы твои, но чужие, друзья канули, всё лучшее сочинено. Понимаю... Нет, пытаюсь проникнуться».

«Всё лучшее... точно?»

«Сказал бы: *увы*, — но согрешил бы: какое *увы*, когда написано *всё лучшее!* Выпить есть? За такое нельзя не пить до твоего последнего Нового года. Давай-ка, брат, наклюкаемся».

«Всё лучшее... уже?.. И что же теперь делать?»

«Спасаться», — сказал Спаситель и, хватив стакан пунша, ушёл в загул.

И опять пришёл Спаситель: «Помят, пахуч, целоваться не будем, подташнивает, и от тебя тоже; пунш — опасен, увлекает».

«Вы? снова? Так что же, всё лучшее... точно уже?»

«Не о том долдонись, хороший».

«О нет: о том. Но — извольте: за что мне это?.. то есть понятно, за что, и всё-таки?»

«Тебе мало написанного так, как никто больше не напишет? семерых кудрявых бутузов, которые никогда не назовут тебя «папенькой» и растворятся в этих бесконечных детдомовских снегах, не знающих хода времени? друзей, которым, может, твоей берданки и не хватило? И при этом, тонконогая, похотливая губастая тщеславная тварь, ты, словно

мощи, млеешь от поцелуйчиков в своё мускулистое покатое плечико. А камер-юнкерство презираешь только потому, что оно не генерал-губернаторство. А кого ты подсидел, на скольких донёс, какой умопомрачительно бездарный и косный проект сочинил, в какие такие места лобзал Хозяина, чтобы стать генерал-, чёрт тебя дери, -губернатором? А ещё эти бесконечные бабы. Знаешь что? — Заведи себе правую руку, а я отвернусь...

И знаешь что? — Погуляй-ка на лыжах до посинения, «спасите» и возможной гангрены. Проветри пустую, но хоть кудрявую».

И снова пришёл Спаситель. Трезвый, не улыбочивый, строгий: «Проветрил пустую? Не отвечай, не проветривал. Ни черта не слушаешься. Баран ты упрямый».

«Всё лучшее... это не ошибка? И есть ли способ исправить это? Ибо хочу и впредь писать только лучшее».

«Наконец-то, — сказал Спаситель. Есть способ. Только ты к нему ещё не готов».

·
(...)

И пришёл Спаситель в седьмой раз в пятницу на одной решающей неделе, когда валенки уже не помогали, а метель кружила, бессовестно притыкая Спасителя хоть куда-нибудь, но не к Нему. Пришёл обветренный с предначертанием, от которого не отказываются:

«Способ — есть. Назову Тебя сыном — тебя, тебя, не оглядывайся, — и станет у меня два сына. Смел ли ты мечтать о таком?»

«И я опять буду писать только лучшее?»

«И весело брюхатить девок. И от друзей не отказываться, но спасать».

«Лучшее... Скажите же это честно, без недомолвок».

«И опять будешь писать только лучшее и ничего, кроме лучшего».

«А взамен что?»

«Сыном станешь. Сказал же».

«Старшим или младшим?»

«Нету разницы, хороший мой. Сыном. У меня сыновья — это сыновья, а не твои детдомовцы. А я больше никогда не пропаду из твоей жизни. А ты из моей».

«Это больно?»

«Висеть-то? Чем больнее — тем надёжней. Страдавший не предаст. Везунчик — запросто».

«Повисеть — и...?»

«Повисеть, замереть, умереть, воскреснуть. И назову сыном. И всё начнётся сначала. И стихи будут лучше прежних — и всегда. И друзей спасёшь от петли и избавишь от кандалов. Только потом кто-то собьёт красивый крест на высокой горе, и ты снова будешь висеть на нём. А девки будут тыкать в тебя остро заточенными осиновыми кольями, проверяя, жив ли ты ещё. А Арина станет поить тебя, ещё живого, вином со сминою, чтобы страдал поменьше, а я не дам: я скажу ей: “Всё, пожила, хватит, упокойся же”, и она послушается, но сначала бросится на меня с кулаками и вилами: “Ну как же, любименький же...” А младенцы твои обретут речь и примутся орать на всех языках: “За что вы папку!” И друзья, которых ты вынешь из петли, будут писать тебе с каторги трогательные письма. Разрешены ли колодникам письма, не знаешь? И Хозяин, которому надоедят твои убийственные эпиграммы, снова собьёт крест, и опять ты будешь висеть три дня и три ночи. Зато все, все-все, дети будут твоими».

«А ведь это, поди, скучно: всё время писать одно лучшее...»

«А можно и вовсе не писать».

«Вовсе не писать не выйдет. Всё прочее — ничто, когда не пишется».

«То есть нет?»

«То есть нет».

«Дурак».

«А со стихами-то что теперь будет?»

«Средние, средние, средние и одно приличное, но — последнее».

.

И опять в дом сдуру заскочил заяц, а после метался по этажу, не находя выхода.

Он сделал полную миску молочной тюри и поставил её перед дверью.

Заяц поглядел Ему в глаза и сделал первый шагок.

«Не буду тебе мешать. Когда поешь, постучи, чтобы я тебя выпустил», — сказал Он.

И, тут же забыв о зайце, сел писать и рисовать на полях профили.

Спортлото

Памяти Алексея Анатольевича Навального

И ладно бы гильдия приказала: «Быть! Будь!» Нет, ничего такого ни мясники, ни горшечники, ни метельщики, ни следователи НКВД, ни чечёточники, ни гробовщики, ни хоккеисты «Динамо», ни мокрушники, ни тапёры, ни швеи своим ни гугу. А трамваи шли полные, и гармонисты наяривали, и гладиолусы в петлицах воняли и звездились, и глаза уже наливались кровью, и руки, доставая до стелющихся вьюжных туч, сучили пространство над головой, и припадочные бились на каждой полуверсте, выкаркивая из-под пены: «Тоже хотим». Увидеть? участвовать? прочесть твари в поносном колотуне отченаш? сняв подгузник, накормить её? запалить спичку? усечь? выбить из-под ног табуретку?

И всюду резали юных бестолковых коров, чтобы измазаться. Крови не хватало, — и резали собак. На второе — полба на яузской воде, а «собака в тарелке — грех», — а коров для рисования на рожах святых восьмиконечных крестов раздобыли.

И наливали, всюду и даром. Дети, пав от первого хмеля, вставали и догоняли подданных мамок: бросались на спину, вцеплялись в подол. Отцы, нёщие хоругви с вышитым тёплым,

как накатавшийся скороходный нож, смерть-словом КАРА, всё время похихатывали и иногда, замерев, шли вприсядку.

·
Сдох, но ведь этого мало.

·
Все на Лобное! Сами. Без старшин и полушек. Сквозь скукожившиеся наносы и уже слабеющую вьюгу. В лучших одеждах, которые берегли, в которых хотели лечь в гроб.

Вьюга и кровь нётелей на голых кусках человеческого тела — ладились. Катюши, шарахавшие с Ленгор салютами, вписывались. «Расцветали яблони и груши» в тысячи глоток под сотни гармошек — венчали. Было пасхально, но с цыканьем слюной сквозь общую дырку в передних резцах-единичках.

·
Расталкивали спящих в сугробах в обнимку с отопительными собаками: «На Лобное, хватит валяться». Брали на руки безногих попрошаек: «На Лобное, с нами». Останавливали встречные «кадиллаки» и катафалки, просили вон и подсаживали на лошадок к тихим жандармам в шорах: «Ну-ка, сначала на Лобное», и «улыбайтесь, улыбайтесь; к вашему покойнику не относится, жаль, не увидит», и «пошла же, каурка».

·
И ни одного дурного слова: кончились, как и не было. Самое топорное за весь благословленный день (по свидетельству Ивана Алексеевича, обращённое к высаженным из «кадиллака» белее паруса): «Обязательно посмотрите, пропустить нельзя; бейте в ладоши, пока не заболят; а потом, может, и с вами так же. А после — хоть на Лазурный, хоть куда. Вольны! Не остановим».

·
Белки у всех алеют, как бойцы в ожидании штыковой, а смеху повсюду... Жрать нечего, а на перекрёстках полевые кухни, закармливающие галушками с кулак в отборной сметане. И заговорили дактилем. И цветными карандашами малюют на газетах за улыбкой прохожего улыбку прохожей. И

многие греют на костре гипс, чтобы заполнить термос, а потом — а потом раскрошить оттиск сатаны пресс-папье, которым следователи забивали кого-то из близких.

На Лобном от детских колясок глаза на лоб: столько, столько. Весь город сегодня на Лобном.

Хозяин сдох, но ведь этого мало: обратились в «Спортлото», чтобы оно, семь раз раскрутив барабан размером с желдорцистерну со всеми не замеченными народными именами, вынуло семь случайных, и вынутые за чаем с пирожными решили, как быть с подохшим.

Пили «Грузинский», ели меренговый рулет — и решили площадно, но сказочно:

Не хоронить, не хоронить, не хоронить столько лет, месяцев, дней и часов, сколько, поплёывая, топтал снег.

И уже в красный день карачуна (сегодня!) устроить форменную пасху: сварить его в котле — и окатить ледяной живой водой; посадить на кол — и окатить ледяной живой водой; порубить на отбивные — и окатить ледяной живой водой; повесить — и окатить ледяной живой водой. И так далее. А когда диканьковцам надоест (или они просто устанут), наделать для всех (ВСЕХ, а не всех) желающих его масок, которые должны понравиться сразу и Левко, и Ганне (а не понравятся — делать, пока не понравятся), и отдать бесщётно сдохшего самым бешеным собакам.

Хотя, конечно, неуважение к собакам — даже самым бешеным — вопиющее.

Но так уж решили за чаем.

Smells Like Teen Spirit

Слова и музыка КУРТА КОБЕЙНА,
КРИСТА НОВОСЕЛИЧА и ДЭЙВА ГРОЛА

Moderately fast

F5 **Bb5** **Ab5** **Db5**

F5 **Bb5** **Ab5** **Db5** **F5** **F5/Bb**

F5/Ab **F5/Db** **F5** **F5/Bb** **F5/Ab** **F5/Db**

F5 **F5/Bb** **F5/Ab** **F5/Db** **F5** **F5/Bb**

Play 4 times

Play 4 times

Load up on guns, bring your friends.
I'm worse at what I do best.
And I get just why I taste.

It's fun to lose and to pretend. She's over-bored,
and for this gift I feel blessed. Our little trap
Oh, yeah, I guess it makes me smile. I found it hard;





Wish You Were Here

Слова и музыка РОДЖЕРА УОТЕРСА
и ДЭВИДА ГИЛМОРА

Moderately

G

C

So, How I wish, _____

mf

D

so you think you can tell _____ heav-en from hell, -
how I wish you were here. _____ We're just

Am

G

two lost souls swim-ming in a fish bowl, _____ blue skies from pain. _____ year af - ter year, -

Круглая и вертится

Ненаглядные умеющие читать... это, ох, Иван «Сущий осёл» Бодхидхармов из ненавистных «Новостей Брайля»... Какое же дурацкое название... какие же теперь новости... «Пошлости Брайля»? Теплее. «Соль Брайля»? Она же «нутро»... ОК, сегодня остановимся на этом названии.

Кретин Бодхидхармов (и фамилия кретинская), «Нутро Брайля», тоже скорбит, скорбит вместе с вами до зелёных соплей, но за вероломно сбитым родиной сорвавшимся с привязи дирижаблем с 298 детьми стоит такое, что отныне никакими рыданиями делу не поможешь. В пожилые 37 лет мне вдруг открылось со всей ясностью, что.

В тринадцать я написал стишок об очень высоком дереве, на которое лет с пяти лазил, как обезьянка, но так и не добрался до его вершины. А потом его вдруг спилили. Как и вообще все деревья выше Неизвестного баскетболиста. Странно, но лесопильный мор начался именно тогда, когда мой стишок вывесили в стенной школьной газете.

Стишок, увы, длинный, вы уснёте, но без него в нынешнем ужасе никуда:

*Сначала я увидел монгольфьер,
который обитает так высоко
и так давно плывёт, что и партер
в нём полупуст, наверное, а б-га
всё нет и нет, а остальное всё
рассмотрено под хлопанье в ладоши,
стихающее, стихшее, несёт,
несёт, переругались все, «я сброшусь», —
устал пугать баран, хотя крыла
отращены — иначе кто бы дыры
латал? Петух и утка? «Доняла
как одиссея! Звери канониры
боготворяют наш шар: не видят — á
палят, палят, и воздух, разогретый*

*ещё Жозеф-Мишелем, иногда
уносится почтовой каретой, —
Пилáтр де Розьé донёс с небес. —
Земля кругла, до Фонтебло нам хватит,
а дальше как?» Засим дюшес исчез —
я выше влез, я увеличил катет
и разглядел искусство жути — SOS,
и это не грассированье лампы:
аэростат замёрз, обрызг, оброс,
как полюс, льдом, — и в белый косолапый
снег падал, падал, падал, падал. Я
смотрел на генерала: он **Титíну**
щемил в руках от страха и чутья
просил: медведи, дескать («если гину»).*

Нелепое слово рядом с «Землёй» заметили? Летающие в небе штуковины оценили? В школе надо мной смеялись, а я цирковой лошадью ржал в ответ: ну шутка же, смехачи; высмеиватели, а потехи не понимаете... Веселились все.

Став старше, я изрядно походил по нашей плоской Земле, ища дерево, с верхушки которого можно было бы если не коснуться, то хотя бы разглядеть в небе воздушный шар. Да-да, летающих воздушных шаров не бывает, не позволяет физика, но мне ребёнку, а потом и дураку, втемяшилось. Однако после таинственного лесоповала и пришествия снеговых туч рослые деревья повывелись; оглядитесь: только карликовые и кривые, упав с которых даже руку не сломаешь. Не карликовые и не кривые? — Вы просто забыли о том, какими они были в детстве.

Вы, сволочи, вообще были детьми? Если были, крылья за спиной помните? Ладно, ладно, крылышки были у кого побольше, у кого кукольные, но, говорят, взметнуться на сотню метров мог, если хотел, любой. Мы не знали, на что с этой высоты нужно смотреть, поэтому глупо, но счастливо орали: «Ой, а у дома есть крыша. Ах, а птицы так близко». Вот, птицы. Где они, кстати? — Отловлены и забиты, в тучной армейской тушёнке.

Но а теперь-то? Что вы, разув глаза, могли бы — не хотели бы, но могли, — разглядеть, едва не дотянувшись до птиц? что могли бы увидеть? Нет? не понимаете? ничего не хотели бы?

Как думаете, всем ли срезают крылья сразу после рождения? Нет, не так: есть ли люди, у которых они по той или иной причине остались? Я не знаю, может быть, мама родила и не донесла о рождении... Это возможно?

Думаете, я бы сползал со своего высокого дерева, сажая занозы и обдираясь в кровь? — вспархивал бы.

Думаете, к чему это я?

А у вас есть чем думать?

Простите.

Деревья срубили, крылья срезают, но солнце всё равно иногда восходит, не так ли? А не должно.

Позавчера на борт милого покатушечного цэпэкаушлого дирижабля на цепи поднялись 298 детей. Цепь, как всегда, собирались чуть отпустить, чтобы поводить ею на высоте недоношенного баобаба по кругу с полуфутбольным диаметром.

Надев очки, дети увидели бы диораму «Полёт зенитного снаряда к окопам врага». Показывали бы пальцами на живописные воронки, полные трупов, много смеялись бы. Им подали бы вкусный крюшон «Слёзы вражеских матерей» или, на выбор, сосалки с впечатляющим вкусом вражеских кальсон.

Но подул ветер, дирижабль сорвало, он поднялся на полверсты, пролетел пару губерний и был сбит из пушки над третьей. 298 детей, целые и кусками, беззаботно порхали, но уже ничего не видели. Навоз вообще незряч.

Дирижабли не могут летать, говорили нам. Но этот летел. И летел так высоко, что можно было... что?

Вчера в 1934-й год спешно, без жирных предварительных песен, ушёл новый железнодорожный состав. И вот мы уже рыдаем чуть глуше. Завтра, если рёв не прекратится, уйдёт ещё один. И ещё один послезавтра. И мы навсегда забудем о сорвавшемся с привязи воздушном овале. Знаете, о чём мы будем говорить, не умолкая? — О возможных беременностях отправленных в 34-й шмар, которые, кто знает, когда-

нибудь вернутся назад — да с животами. Полюбим ли мы их «вневременных» детей так, как любим их самих, этих бестолковых девчонок...

Но шарм жалко не меньше 298 ребят в ошалевшем дирижабле. Потому что их... Нет, никто не сбрасывает их с края Земли на полном паровозном ходу — их, должно быть, закапывают в снега на полном паровозном ходу: под откос двугривенным на рельсах, — и лопатами, лопатами. Лопат у нас прорва.

А в пятницу они убьют меня. Ну как убьют: на меня упадёт чаадаевский кирпич. И «Телерадио Брайля» увлечёт вас на целый месяц рассказами о моей недостойной персоне, и этих 298 детей не станет: они даже не рождались, чтобы однажды вспорхнуть на дирижабле и увидеть...

Телефонистка! У меня обрыв связи! Немедленно восстановите. Я требую. Пожалуйста. Я прошу вас. Я закругляюсь. Спасибо. Спасибо, спасибо, вы всё-таки барышня.

Итак, у меня всё-таки есть новость: Земля круглая.
Круглая и, полагаю, вертится, как ошпаренная.
Это были «Новости Брайля».
Жизни вам. Глазастой и задумчивой.

В лесу прифронтовом

У каждого грибника есть своя долговременная огневая точка. В доте есть узкая и короткая кровать с панцирной сеткой. Детсадов теперь нет, а разборные кровати — вот они. Под кроватью есть музейные тапочки. Музеи кончились, а тапочки нет. В тапочках есть тепло ног последнего взглядывателя в «Зеленя». Взглядыватель (это точно, не слухи) пытался оторвать от «Зеленей» часть поля, хотя бы борозду, но прилетела ракета; тепло его ног в рукодельных турецких кроссовках «Асикс»,

передавшееся тапочкам, согреет всех грибников, которые останутся в этом доте.

Многоаршинный бетон пола выкрашен жёлтым. Жёлтый не пугает — настораживает: «место для кровати», «место для тапочек», «для кресел для внезапного отдыха» (синемá теперь нет, и целый ряд неразъёмных кресел в деле), «пространство для русской печки». Трубы, впрочем, нет — дым демаскирует, а дрова ещё растут, так что или, нарубив, угорай, или мёрзни. «Место для шуб» тоже есть: дам теперь нет, а шуб хоть обогрейся, свалены щедрой рукой в положенном чертежом месте. Чернобурка самая милая сердцу.

Фронтное радио «Хорошо теперь» передаёт песню «Валенки» (других пластинок у радио нет — все отданы дотам). На полу на надписи «обувь, бесплатно», по проекту, всегда должны стоять подшитые валенки с галошами. В этом доте их нет, только ряды вьетнамок и высокодамских туфель-шпилек.

Если грибник баба (что бы это теперь ни значило), на полу есть надпись «мужик». Если грибник мужик (обычно с бородой, морду не пудрит) — положено напоминание «баба», о котором часто забывают, но тут оно есть. Вот почему к грибнику иногда заглядывает грибник баба, которая, постояв на своём месте время, потом целый час сидит верхом на грибнике, а тот только постанывает на своей кроватке из ясельной группы. В такие моменты громкоговоритель, которым обеспечен каждый дот, озадаченно спрашивает: «От внезапной острой боли или от страсти (что бы это теперь ни значило)? Если от боли — промолчите, и мы пришлём ближайшего к вам грибника на помощь. Если от страсти — кричите: “Да”. Третий вариант ответа будет расценен как внешний шум».

Еды теперь нет, но космическая осталась, и надпись тоже предусмотрена: на «еде» стоит полка с коробкой, в которой лежат три тюбика: один с зубной пастой «Поморин», а два — со свиной на вертеле, но кушаньки нельзя, это — НЗ «На случай ошеломляющего удара противника». Ничего, грибы тоже пища.

Грибы теперь жирные: мясо кончилось, а грибы начались. Когда мицелий проникает в грибника, обоим открываются

тайные знания: грибницу выворачивает, — столько горечи нет даже в суглинке, а грибник посвящает всё молниеносное семидневное лето сушке грибов. В начале зимы он непременно выбежит на лыжах на рынок и прикончит всех негрибников, позарившихся на его пахучие грибозаготовки. Другие грибники будут загадочно улыбаться, но помалкивать: их сушёные бледные не хуже.

Вонь терпимая: помогает отдушина, которая заносит в дот жалобный щебет оставшихся птиц, шёпот раненых, брошенных в полях, и звуки взрывов в стольном граде, — и выгребная бочка, стоящая на «месте для ведра для ночного золота», уже не кажется чем-то невыносимым.

Книг теперь нет, только случайные страницы из «Улисса» и «Вишнёвого сада», которые наколоты на гвоздь, вбитый в стену подле места для уединения. Чтение, что бы о нём теперь ни говорили, порой скрашивает, если, конечно, не забыт навык.

«Место для танцев!» (именно так: с зажигательным восклицательным знаком) — это целый стеллаж с, должно быть, зажигательными танцевальными грампластинками. Тут можно приплясывать под песню «Валенки», которую безостановочно крутит фронтовое радио «Хорошо теперь», потому что пластинки — на полочках, а запускать их не на чем: все проигрыватели вымерли ещё до грибников, прифронтовых лесов и дотов.

И вообще, на полу много чего написано. А вот деревьям уже кажется, что доты были всегда, как и ломающие их лучшие сучья парашютисты, которые падают с неба вместе со снегом. Деревьям теперь чаще больно, чем весело: парашютисты, барахтающиеся в кронах, расстреливают их из пистолетов и распиливают ножовками, только бы свалиться в беспамятстве на землю. Деревьям всё меньше хочется тянуться и разбрасывать ветви, но они делают это через силу, вспомнив, что когда-то их молодые побеги кормили вечно голодных коров. Может быть, это время ещё вернётся?..

Ни своих, ни чужих теперь нет, зато есть парашютисты.

Если вьюга такова, что пули, вылетев из ружья, теряют след и уносятся прочь, грибник зазывает упавшего парашютиста к себе, произнося на ломаном родном слова «яйки», «млеко» и «баба». Суп с сушёными грибами закипает на плитке. «Сметаны, прости, нет, но и без неё — объедение». Это правда. «Прости, баба придёт позже». Придёт, конечно, ибо одному такую тушу из дота не выволочь.

Если же парашютист не промах, в доте поселяется новый грибник.

Прифронтовые леса всюду. Грибники повсеместны. Влюблённых нет, но дотов хватает.

«Хорошо теперь. Ваше любимое фронтовое радио передаёт для всех влюблённых песню “Валенки”».

Дети падали

Запреты не должны иметь никакого смысла. На то они и запреты. Запреты очевидные очевидны даже немым пока детям, и в них нет нужды — они носятся в воздухе и сбивают покусившегося и нарушившего насмерть: ударит ли каменной мотыгой возмущённый сосед, или, устроившись удобно на дереве, подстрелит вызванный мент-снайпер, — без разницы: наповал.

Когда над Третьей губернией начали падать дети, никто и глазом не моргнул, не говоря уже о том, чтобы поднять глаза. Запрещено, Нельзя. «Всем, всем, всем. Глаза долу!» — прервав песню «Валенки», передало «Телерадио Брайля».

Всё ещё бывшие дети, слёзы, конечно, смаргивали и глотали, но зарыдать? — тут же налетят с собаками и тут же погонят за 101-ю версту: своим ходом, в том, в чём взяли, псы сзади, суки сбоку, впереди трактор, его держись, и так пять тысяч вёрст до Края. И на Краю начинай всё заново: снова за парту,

снова в ПТУ, снова ищи бабу, чтобы размножиться, снова стой у станка, точи снаряды, паши в поле, расти фронттовую брюкву. А попасть в рыбаки, чтобы удить с Края Земли полную чёрной икры рыбу для военачальников, — никак, ибо сосланный и клеймённый: на лбу штампованный резиновый оттиск сапога. Смывать нельзя, а показывать участковому, который всякий раз зарисовывает цветными карандашами анфас для протокола, нужно.

Дети, 298 штук, падали долго, порхая и, если ещё дышали, перекрикиваясь на всю губернию: «Нас ведь поймают? Мы же не колом, мы же не в штопоре...» Местá их падения, или их частей в кожаных ботиночках, вязаных шапочках, чёрных пальто на вате, затейливы, складываются в затухающую синусоиду и протянулись через все географические зоны Третьей губернии, в которой...

...как раз заканчивалось торопливое недельное лето, заставшее пахаря бегущим за плугом, а сеятеля играющим с самим собою в карты на сеялке, пастуха — спящим на окраине овечьего стада, доедающего поле васильков, детей — на коньках на пруду, покрывшемся первым слюдяным ледком, рыбака — стоящим в полынье и руками таскающим поспешно засыпающую рыбу, матросов ледокола «Семён Иваныч» — лениво готовящимися к раздавливанию льдами.

Пахарь, запнувшийся о тельце в чёрном пальто на вате, подумал: «Ах, какое пальто. Заметить нельзя, закопать тоже, а обходить его теперь, понукая мерина не принюхиваться и не воротить морду, — изволь. И волков изволь отгонять, и пост будь любезен установить, потому что налетят и спросят по всей строгости: на твоём поле? прозевал? волки пожрали? и с чем нам теперь работать? что показывать мамке этого пальто? что предавать земле? но ведь я же, товарищи капитаны и майоры, не заметил этого пальто на вате...» Подумал, заорал на мерина: «Ты что стоишь? А пахать лермонтов будет?» и припустил за припустившим плугом.

Ещё бы аршин, и пастуха убила бы во сне плачущая мордашка в вязаной шапочке. Пастух продолжал сладкий

сон; овцы подняли от васильков головы, умно посмотрели на упавшую с неба головку в шапочке, опасливо посмотрели на небо и мерно доели ярко-синее поле.

Когда в соседнюю полынью упали две голые ножки от разных тел, всё видевший рыбак, нисколько не изменившись в лице, сказал вслух так, чтобы слышали дети, чертящие на первом льду чёртовыми гагами романтическую фигуру бесконечности: «Надо же, как плещет засыпающая рыба». После этого вслух же вспомнил, что опаздывает на важную встречу за сто вёрст отсюда, а дети вспомнили вслух, что у них сегодня урок чистописания, пропустить который — значит остаться в Третьей губернии навсегда, чтобы чертить до пенсии чёртовыми гагами на первом льду эту лядскую бесконечность; и никакого тогда латте в стольном граде, милый (и моя милая).

Безостановочно смеющийся мальчик метеоритом внёсся в окно токарно-винторезного цеха и затих. Первая смена, все 700 токарей, ударников труда, в мёртвой тишине, без единого перекура доточила снарядную норму и пошла пить, с лёгким мордобоем обсуждая начинающийся завтра чемпионат по футболу на льду.

Матросы «Семён Иваныча» заранее плакали вслух, но по другому поводу: судну снова предстоит быть скомканным льдами, словно газетёнке «Новости Брайля», которая достала уже со своими фантазиями. А этот повод — какой он для них повод. Никто не крикнул: «Человечек за бортом». Нет повода. Надо вкалывать — неизбежная утрата судна не за горами.

·
То, что уже было, повторится ещё раз. Максимум — два.
То, чего не было, повторится многократно.

·
Прервав песню «Валенки», фронтовое радио «Хорошо теперь» передало важное верховное сообщение: «Всё, можете взглянуть друг другу в лицо. Ну, или в зеркало». Вечером в день окончания падения, вышел внеочередной вздорный листок «Новости Брайля», сообщивший в заметке «Потерпите же» о начале строительства в Третьей губернии палаточного лагеря им. Труд Делает Свободным. Типа: вот сдадут — тогда и пяльтесь, не таясь, на небо в своё удовольствие, потому что

«в палаточном лагере для этого будут созданы все условия. Даже в подзорную трубу с подзорной вышки». Типа: «И никто в вас больше не пальнёт из снайперской, притаившись в кроне дерева». Типа: потерпите же, скоро, темпы ударные.

Офелия и благоговение

Донести за неудовольствие («За сорок лет беспорочной я привык к определённом распорядку: зэкá в ногах, зубы на полу, морда синяя, встать сам никак, так и валяется несколько дней там, где я вломил... — и у меня внутри запеваёт: бежишь потом по коридорам и без удержу пинаешь встречных, как мяч, зэков ли, своих ли. А теперь? кого мне тут, у этого сраного синего моря, сбивать с ног с одного удара в ухо? Хожу как в снег прикопанный...») — это всегда, было бы на кого. А на кого есть. Много на кого есть. А этот, доподлинно процитированный, — так, когда шлея под хвост попадает: обхмят обормоты в очереди к телетайпу (стоял ли я тут? да я раньше вас, падлы, был, а вы свои изветы при мне, уже тут, на спине впереди стоящего докарябывали), девочка в песочнике косо посмотрит (я тебя даже не тронул, детка косоглазая)...

Когда начальника Харпáушвица перевели в дипломаты, он кобенился, выбирая страну, настаивая на тёплой синеморской и собственном штате, который «уже подобрал, ребята из золота, я с ними сорок лет беспорочно на стуже мёрз: лето семь дней, едва успевали гладиолусы посадить — и тут же срезаетшь». Взгляд его пронимал, жалобы пугали, — и ему уступили, поменяв мыло на заточку: прежнего амбассадора с дружеским женским конвоем (чтобы не сбежал по дороге) отправили в Харпáушвиц, потому что сколько же можно человеку валяться на берегу тёплого синего моря, по которому давно плакала заточка.

Местные хомо — само собой: у посольства нескончаемые очереди всех, и эти все несут и несут дань непередаваемого уважения на караванах навьюченных ослов. Сам быстро пресытился, и кормление стало бригадным: помощники с раскосыми и жадными буркалами, надев его резиновую маску, принимали волхвующих посетителей в три смены, пока сам оттаивал с удочкой там, где тёплое синее море выливалось с утёса под ноги слонам. Помощники в его маске дарили пришедшим его фото в его маске с факсимиле его кучерявой подписи. А он, когда надоедал утёс, дарил местным кусочек намордника с Двери Той Самой Камеры, а апельсины, коими полнились мешки с дарами, вынимал и бросал с семи шагов в морды туземцев. Не мог удержаться. Тосковал по. Но — смеясь, чем скрашивал, переводил в шутку: «Вот такие у нас зимние забавы, косоглазые. Ржите, а не кривитесь. Тьфу: равнодушные, не благоговеющие перед. Надоели». И, бросив апельсин в помощника, удалялся удить. «Офелия уже на утёсе», — докладывали мне.

Но и наши сапиенсы тоже: специально, целыми бортами прилетали из стольного града, чтобы. Дамы в мехах, превозмогая обожание и страх, заходились: «Ну дайте, дайте же лапку, ненаглядный». Он им, конечно, ручки не целует, а они его ручки вымалывают: «Вы же этой лапкой им в ухо? этой же? А я её сейчас чмок».

Перебывали, кажется, все. И все прикладывались к правой, не одни комсомолки. Он их сам записывал, помощникам не доверял, то есть помощники вели учёт, но — у него свой: эта была и целовала; тот прилетел вторым аэропланом и от души приложился, пах селёдкой с луком... Толстенная замусоленная амбарная книга с надписью «Когда воцарюсь, эти — пригодятся, ибо благоговели».

Но: «В зубы теперь никому, кроме помощников, не дай; подзатыльник бабе в шубе из стольного града невозможен, мочиться в присутствии туземца с дарами возбраняется, кормление опостылевает, ужение с утёса обрыдло, загорать толком не умею, а учиться поздно, водка тёплая».

Есть, есть о чём докладывать. Однако сдерживаешься, откладываешь, строчишь о глупостях («Собака его беспричинно лаяла на портрет Хозяина...»), а не о его неудовольствии. Намёки проскальзывают лишь тогда, когда ты или в стельку, или взбеленился на туземную девочку в песочнице: я её даже не тронул, а она пятнистым гиенным оком мазнула и вновь за свои куличики, или как их там.

Потому что кто ещё, если не он, когда Хозяин всё?

А ещё ему докладывали, что я не докладывал, вот я и.

Упасть с обрыва так просто, но Офелия не упал и вряд ли упадёт. Потому что кто ещё, если не он, когда?

Сколько бортов целовали его стальные ручки. Стаи.

Сколько были расстреляны на лестнице из аэроплана по возвращении в стольный град.

А борта к нему (на поклон) всё равно тянулись. Ибо расстреливали не всех, а как-то выборочно и затейливо: в начальника промахивались, и он преспокойно сходил, только на глазах седел и желваки играли, и садился в машину, крикнув: «Немедленно на службу», а секретаря, ещё мальчишку из наших, — наповал; жену пулемётный огонь в салоне вновь прибывшего с тёплого синего моря аэроплана не задевал, а мужа, зам. министра какого-нибудь сантехнического рукоделия Тьмутараканской (второй с конца) губернии, рвал и размётывал.

И не расстрелянный мог надеяться на его будущую благосклонность.

Ибо летал, благоговел, о чём есть запись в амбарной книге, и по прибытии в стольный отчего-то выжил.

Я докладывал обо всех из неё, но судьба — затейлива.

Замороженный

В половине случаев замороженный не выживает; во второй половине случаев замороженный становится слишком чист, светел и хандрит.

Хек, избежавший лимба (или нимба? не помню, а спросить не у кого — мои мне больше не звонят, а сам я сдал телефон на ответственное хранение в камеру хранения какого-то вокзала в городе, название которого лишь вертится на языке, но пока нейдёт. Вспомню! и напишу на бумажке, чтобы иногда зачитывать)... хек дурит, как не рыба: крикнешь в шутку с берега белого ото льдов моря: «Хек, эй», — и он, будто непутёвая форель, разбивает лёд, кровавая крокодилий клюв, — и ластится. «Чего надо?» — не спрашивает, но и так понятно: может многое. Руки белеют, а всё равно комментируешь его появление из бела-моря и пишешь ему на рубинштейновских карточках его ответные реплики, — и он заходится, пуще поглаженной детской рукой белухи, а вечером вдруг-стук в дверь: «цветы-с для балерины Дуни Истоминой», да с запиской с Его (не хека) запахом, Его ласточкиной рукой, мол, ах, как вы пленительно висели сегодня в воздухе, да с Его же ласковой эпиграммой:

*Истомина так увлекалась, что
теряла настороженность и до
антракта обращалась вокруг себя
на высоте немыслимой, слепя
землян, аборигенов, этим «странно,
как можно так кружиться без обмана
в городской сажени от земли»,
пока тебя во гроб ни низвели
антракт и ужас, что если они
сей глупый мулен-руж узрели и
теряются в догадках... В перерыве
извозчики выкликивали вживе*

*оставшихся, но ослеплённых бар
и уводили от балетных чар
«подальше, барин», будто от греха
бежали, только это чепуха:
«Куда бежать со мною на сетчатке?»
И Дуня поправляла ручкой прядки.*

Зазноба, да-с; и ещё не ссучилась... Хотя просил я что-то (не помню уже) другое.

В общем, хек дурит, а подполковничек, ключик-чайничек, печалится. И это наш — счастливый — случай, ибо, нырнув в прорубь в самый оймаконский день нашей зимы, начальник выморозился до молекул (или атомов?), но по-прежнему с нами, только чист, светел и элегически хандрит (или дифтерит? опять забыл, а спросить...).

Расколов лёд ледорубом, умоляя об удаче, присные устроили овацию в прямом эфире на всю родину:

смотрел, не мигая, и сходил под себя,

— узнаваемо, вернулся, гип-гип, диктор торжественно импровизирует: «Вы слышите? Вы всё, конечно, слышите! Вчерашний фронтовик заводит трактор, и пилят лес гнедые мужики, и в шахты упадают (в лучшем смысле), и дуют пиво, и у проходной устраивают топ: им так неймётся попасть к станкам, а женщины кухарят, стирают и латают эту дрань, в которой их мужья, придя со смены, валяются носом в суп, устав ужасно, всё успевают нынче наши бабы: они малярят и стоят в сберкассах, чтоб снять купюры с ликом и купить ребёнку молока, ломами землю долбят и волокут цементные мешки, а вот природа подло поступает: ей захотелось смеркнуться; постой, да погоди ты, вечер, как же дом культуры и пивная, и барак, и пляшущие в парке вальс слепые, святые церкви — как? и ППС-посты, снарядные заводы и билборды, берёзки, наконец? треск реактивный в небе, тележный ход колёс автомашин, статуи-переростки пионеров, доярок, горняков, глаза старух, глядящие иконно, и задастость девиц, стоящих скопом у шоссе? а ералаш детишек — что теперь с ним будет в эту

уличную смуглость? а ветеранские дубовые протезы, на коих прорастают листья дуба? а нефтешки? терриконы — как? Но страйкер, сволочь, с ходу забивает три гола впечатляющих, а ведь не мог до сей поры! Да погоди ты закатывать светило, пусть посветит ещё не чуть — всю ночь скажи ему тарачить жгучий глаз на нашу пьянку, — начальник снова с нами! Он в портки надул как встарь и смотрит анной герман!»

«Такой подъём, товарищи, — а ведь он ещё даже не заговорил!»

Чтобы говорил и его несло, чтобы вернулся и сделал привычное: возвращая родине доброе имя, а не родине — очередную собачью кличку, прилюдно снял галифе, врачи старались: кололи ему разные напитки, подбирая состав и промилле — и выводя его на публику, где «результат не замедлит проявиться, потому что одно дело запирать в одноместной палате в смирительной рубашке — и другое выводить без рубашки к широким народным массам, которые рукоплещут».

Передовицы «Состояние здоровья начальника и будущие публичные появления» вывешивались на каждом заборе. Из них следовало, что: «завтра в полночь состоится хоккейный матч с участием начальника» (начальник отказался взять клюшку, потом упал плашмя на лёд и расплакался); «завтра в полдень состоится встреча руководителя дружественной джамахирии с оркестром и почётным караулом; у дирижёрского пульта — начальник» (начальник махнул палочкой, оркестр заиграл собачий вальс, начальник сделал шанжман де пье и расплакался); «завтра вечером в Большом театре будет дана опера “Мазепа” с участием начальника» (начальник, сидя в главной ложе, пытался исполнять вместе с Марией её арию, но расплакался); «завтра начальник посетит шапито, где триумфально проедется на мотоцикле по вертикальной стене» (начальник сел на мотоцикл на вертикальной стене, но не смог завести его и расплакался); «завтра на Лобном месте состоится казнь небезызвестного

смутьяна, после чего будут произведены точные удары по воротам отрубленной головой; рубить и забивать будет начальник» (начальник, расплакавшись, положил свою голову на плаху); «завтра в средней школе №№ будет проведён открытый урок рисования, тема урока: изображение жопы, учитель — начальник» (светло и чисто улыбаясь, начальник нарисовал кривой домик под овальным солнцем и расплакался).

И вот настал день, когда врачи отчитались на каждом заборе: «Завтра. Завтра он произнесёт свои первые слова (а галифе — потом, успеем ещё с галифе, галифе тоже достижимо, товарищи)».

И настало завтра. И все радиостанции родины заорали: «Внимание, внимание. Говорят все радиостанции родины. Сейчас вы услышите первые слова дорогого начальника».

И слова были сказаны, и это были чистые, светлые и грустные слова:

«Никогда больше не буду отнимать сосиски у собак».

Сразу после этого, в этот же день, в школах родины возобновились уроки. Начали с малого, но такого важного: с чтения. Дети и их родители сели за парты, чтобы, раскрыв азбуку, а не трёхрублёвую бумажку, познать свою первую букву, свой первый слог, своё первое слово:

«мама».

Мусью Николаев

Следователь: Твоя национальность, скотина?

Леонид Николаев (далее Л. Н.): Француз, истый француз по меньшей мере в семнадцатом поколении.

Следователь (далее Леонид Заковский): Могу ли я называть вас, мосье Николаев?

Л. Н.: Если вам угодно. Но правильнее говорить: месьё. Если вам угодно.

Леонид Заковский (далее Комиссар Государственной безопасности 2 ранга, КГБ2Р): Мне угодно удушить тебя прямо здесь вот этими руками. Мне угодно, говорить «мусью»... Ваше настоящее имя мусью Николаев?

Л. Н.: Дантес, Д'Антес, если вам угодно. Жорж Шарль де Геккерн Д'Антес-семнадцатый. По меньшей мере восемнадцать поколений моей семьи называли старшего сына Жоржем Шарлем.

КГБ2Р: Мне угодно называть тебя бешеной собакой... Могу ли я называть вас Жоржем Шарлевичем?

Л. Н.: Если вам угодно.

КГБ2Р: Мне угодно изнасиловать тебя на Сенатской без приговора суда и при большом стечении девиц всех возрастов... Цвет ваших волос, Жорж Шарлевич?..

·
Это Иван Бодхидхармов, «Новости Брайля». Не смейте спрашивать, что это и откуда. Но это что-и-откуда (кажется) ставит окончательную точку в нашем расследовании «эшелонов в 34-й». Слышите, слепые? Мы. Теперь. Знаем. Зачем. Они. Это. Делают. Уточню: они делают это, чтобы скрыть, что Земля круглая и вертится. Но, как теперь стало понятно, не только поэтому.

·
...Л. Н.: Блондин.

КГБ2Р: Не крашеный?

Л. Н.: Нет: все старшие мальчики в нашей семье всегда были блондинами.

КГБ2Р: Да мне плевать с Исаакиевского собора. Ваш рост?

Л. Н.: Да уж повыше вашего недомерка.

КГБ2Р: Это какого же?

Л. Н.: «Вашего всего» и его бесконечных бастардов.

КГБ2Р: Я не ослышался? Вы назвали дорогого товарища Сталина карликом?

Л. Н.: Да не сталина [так в протоколе. — И. Б.], тупой вы человек, а «вашего всего».

КГБ2Р: Это кличка? ФИО этого Вашего Всего? Быстро.

Л. Н.: Да не «вашего», а «нашего». Наше всё, как вы Его называете.

КГБ2Р: Кого? Убитого вами товарища Кирова?

Л. Н.: Кострикова, он — всего лишь Костриков. И, нет, не его.

КГБ2Р: Он — товарищ Киров, и вы беззастенчиво всадили в товарища Кирова три обоймы обработанных ядом пуль. Не его? а кого же? Дорогого товарища Сталина?

Л. Н.: Вот же тупой (правильно про вас, латышей, говорят: лабусы): Костриков — Его внук.

КГБ2Р: Сам ты лягушатник, бешеная собака... Чей внук подло приконченный вами товарищ Киров? Товарища Сталина?

Л. Н.: Да не сталина [так в протоколе. — И. Б.], а Его, вашего всего, которого вы называете Нашим Всем.

КГБ2Р: Ладно, потом с этим разберёмся. У меня вопрос: вы правда считаете, что убитый вами товарищ Киров был карликом?

Л. Н.: Ну да. Метр же в кепке. Как и ваше всё. Я рослый, вы тоже не карлик, а вот он, как и его дед, которого вы бесосновательно называете вашим всем...

КГБ2Р: Перестань лаять, бешеная собака... На кого вы работаете?

Л. Н.: Сюртэ, разумеется, Женераль.

КГБ2Р: Французики?

Л. Н.: Французики, если вам так угодно.

КГБ2Р: Мне угодно отвести тебя в соседнюю комнату и удушить верёвкой... Когда и где вас внедрили?

Л. Н.: Мой отец, Жорж Шарль Д'Антес-шестнадцатый, перешёл границу Российской империи тайными тропами по тонкому льду и глубоким сугробам в XIX веке и примазался к неким Николаевым. Николаевы приняли его как сына, но он обрюхатил их младшую дочь, чтобы родился я. Так я начал свою подрывную деятельность, которая закончилась убийством вашего Кострикова.

КГБ2Р: Товарища Кирова, собака. Я требую называть убитого товарищем Кировым. Откуда у вас... и у вашего отца... такая ненависть к товарищу Кирову?

Л. Н.: Лично у меня нет ненависти к Кострикову. Разве что незначительная. Это всё Сюртэ Женераль: у них какой-то зуб на ваше всё, мол, французская поэзия давно в чирьях, захирела, надо вдохнуть в неё новую жизнь. И они вспомнили, что в 37-м будет юбилей. И объявили немалый денежный приз за уничтожение внука вашего всего, этого недоделанного кострикова [так в протоколе. — И. Б.], но чтобы именно в 37-м. Вызвался мой отец. После чего его забросили в Россию. Увы мне: убить Кострикова пришлось раньше. Так что плакали мои немалые призовые. Но я всё равно рад.

КГБ2Р: Чему, собака?.. Чему вы рады, мусью Николаев?

Л. Н.: Тому, что не по злобе, а из-за денег. Просто работа... Хотя для меня это, конечно, немного личное.

КГБ2Р: Как вы убивали товарища Кирова?

Л. Н.: В коридорчике. Тринадцать наших сумели заблокировать коридорчик часа на два, чтобы я сделал своё дело. Мы продолжительно, но мило поболтали с Костриковым, потому что я должен был убедиться в его подлинности. Вдруг Костриков совсем не Костриков. У вас всё возможно и бывает всё... Костриков оказался настоящим. О том, кто его настоящий дед, он, конечно, не знал... Я сказал ему об этом за минуту до первого выстрела, но он не поверил, смеялся... А стихи любил: наизусть, по моей просьбе, прочитал всю 10-ю главу «Е. О.», а это семнадцать кастрированных строф; читал хорошо, отточия — на языке жестов, на

*У них свои бывали сходки,
Они за чашею вина,
Они за рюмкой русской водки*

.....

я даже прослезился. Он: «Чего такое?». А я: «Личное, не обращайтесь внимания»... Словом, мне понравилось. Молодец. Внук, чего там. Яблочко от яблока от яблони.

КГБ2Р: Кажется, я понял, о каком дедушке вы талдычите. Быть не может... Итак, вы удостоверились...

Л. Н.: Потом поговорили о жизни, о вашей чреватой политической обстановочке...

КГБ2Р: Защищаемся как умеем.

Л. Н.: Умеете, о да... Разговор был непростым, даже с рукоприкладством. Костриков, как и должен был, оказался бараном, не отрекался, не просил. В конце любопытствовал: почему? Я ответил (про дедушку), он расхохотался. Я выстрелил. Он попросил в затылок: мол, не было никакой беседы, я подкараулил и тут же шмальнул. Чтобы ваши в нём не разуверились... Набежали ваши, зачем-то захотели сымитировать моё самоубийство, не получилось. Ну, почти не получилось. Просили написать предсмертную записку: я, такой-то, враг народа, в интересах японских реакционеров... А я грамоты-то не знаю. Говорю для лица с неполным начальным сносно, а писать на русском так и не научился. Мозгов, что ли, не хватило...

КГБ2Р: А ваши подписи?

Л. Н.: А вы их видели? Я всегда, не стыдясь, как пролетарий, ставил крестик...

·
Это был я, Бодхидхармов из «Новостей Брайля». И вот что я думаю, изучив сей восхитительный протокольный кусок: они опять захотят отправить в 34-й эшелон ликвидаторов бедного Леонида Николаева-Дантеса. Как после такой публикации — да не отправить... Я бы и то отправил. С другой, впрочем, целью.

Но — напомним, что земля круглая, и 1934-го давно нет, весь, к счастью, вышел.

И, кстати, я начал сомневаться: а был ли он вообще, если наш 2037-й (тут я зачем-то понял, или вспомнил, что проспал 100-летний «юбилей» убийства этого самого Кострикова) не кончается уже лет сорок... Жизни вам.

·
«Милая барышня, — любезничаю я с милой телефонной барышней, — заметочка прочитана, спасибо за сотрудничество.

Правда, я что-то не слышал сегодня дорогой редакции: гудков не было, но и моя начальница помалкивала...

«А я вас не соединила, — смущённо выпевает телефонистка, — потому что не могу передать *такое содержание*, потому что это — теперь неправильно».

«То есть я зря трепался? А я ведь собирался на вас жениться».

«Нельзя такое. Нельзя о таком. Новый Указ Его Превосходительства, — давится она липкими словами, но всё равно хихикает: — Жениться? на мне? Я же вам в мамочки...»

«Тогда я отправлю заметку почтовым голубем. Но у вас такой голос, барышня...»

«Голубей, я слышала, приказано сбивать (это в другом новом Указе Его Превосходительства). Какой голос? молодой?»

«Ну не крысы ли... Но я не могу выйти в такую вьюгу. Юный и влюбляющий».

И телефонистка сквозь слёзы вопрошающе смеётся: «А вдруг она когда-нибудь закончится, эта вьюга?..»

Умер-шумер

Керенки, но очень, очень много, были вложены в кашу. «Каши много ел, — гордо смеялся Ванечка и показывал карманному зеркальцу наливающиеся икроножные. — Откормил. И продолжаю». И продолжал носиться по регбийному полю, утопая в сугробах, но упёрто заноса попытку за попыткой. Дрезинщик Полустанкский распорядился: «До 700 очков, пожалуйста». И Ванечка играл сам с собой с утра до вечера: сначала добывал семьсот очков для команды справа, а потом — столько же, или чуть больше, как получалось, для команды слева, в красных шёлковых фуфайках. Вечером садился на прикрученный к полу велосипед и показывал Полустанкскому, чего добился: терзал молодецкие болты — и срывал велосипед с места. Болты распухали в диаметре, и Ванечка равнялся на толстеющие болты. «На тебе целый вертолёт, — поощрял

дрезинщик, — давай, Ванька, паши. Вспорхнём, когда поборешь Вот Такенный Болт. А там и на выручку полетим».

Ванечка пахал: занос за заносом, реализация за реализацией, а на губах подсмотренное в отрывном календаре петушиное слово, моление — не о голе, о вызволении двух мальчиков, собаки и их поэтичного папы: «Уложится ли тут, в одной из строчек, / то слово, о котором говорят: / «срывающееся»? И вертолётчик / над лагерем повиснет, и, подряд / семь человек по лестнице на небо, / свинец не принимая внутрь себя, / взбегут: один — не удивившись, слепо — / другие, редкий случай теребя: / «за что? за что?» — так оказались рядом, / так больше и нельзя, — и с глаз долой, / и ускользнут туда, где во проклятом / скрещеньи места, времени весной / обманывают век, а мы и рады».

Уложится-уложится.

«Только не молением, Ваня, — поправляет дрезинщик, — а винтом. Винтом, Ванечка».

А значит, вертолёт — изобретался. Теперь всякое дерево в глазах Полустанкского было винтом: берёза для ротора оказалась нехороша — ломкая, дуб — тяжёл, не осилить Ванечке, липа — мягка, на ветру трепалась, распускалась на волокна, а вот клён (не потому ли, что летуч с детства?)... Клён — песня: оба винта его. Ванечка крутил их прототипы и радовался: «Полустанкский, ну приспусти же гаечки! Ну миленький! Сорву ослабленные — и взовьюсь! Верую!»

Что есть спасательный вертолёт? Да ничего особенного: ножной цепной Ванечкин привод, приводящий в бешеное движение пару роторов, надёжные туклипсы (на сильнейшую ногу, вращающую главный пропеллер, одна, на другую — иная), вертлявый, как у ласточки, хвост, велосипедный руль, бронированный полезно-грузовой отсек для папы, двух мальчиков и собачки с фотографии, ящик оборонительных гранат, доходчивый командный голос пилота в тулупе, бесконечная силища и чуткая послушность Ванечки в тулупе, удача. Летать невозможно, с научной пеной у лукавого рта уверяют Кошкин и Ширкевич («Плотность вьюги на высоте,

ха-ха, так называемого полёта едва ли не равна плотности посадочного ружейного огня с земли»); летать нельзя (запрещено), сообщают плакаты в роддомах («Дитя, даже не думай. Сопи себе и соси»); летать не на чем, назойливо долдонят на магазинных чеках при покупке недвижимости; летать не умеем и не хотим, рекламируют в телевизоре гангренозного вида окопные жители. А если это очень-очень нужно одному трогательному мальчику, угодившему вместе с братом, папой и собакой в эка? если спасти их может только неожиданный вертолёт? Если так — то определённо можно, лезь и будет на чём, повелел себе дрезинщик Полустанкский.

•
«Уложится-уложится. Легло. / И будет — в этот раз — придурковато, / а не разумно; будет тяжело, / а не шутя: легко ли встать с дивана / и одолеть единственное: страх? / высокоумно ль пулевые раны / не исчислять, смелеть и впопыхах / не замечать, что умер-шумер-вдавлен / в весеннюю шугу?.. Опять весна... / опять намёк затёртый — но проталин / так хочется, что просьба не дрянна», — ответил отрывной календарь на петушиное слово Ванечки, и был услышан дрезинщиком Полустанкским, решившим оторвать ненужные уже листочки. Вьюжило по-прежнему, но, по мнению календаря, надвигалась, гм, весна. «Весной, весной», — крикнул Полустанкский Ванечке. «Ура!» — отозвался дылда Ванечка, не переставая спешно худеть: мышцáтый, ужасно вытянувшийся, он легко поднимал вертолёт — если в том не было мешка с окским песком, изображающим довольную собаку с фотографии. «Сбросить 10 кг, но лучше больше», — сказал дрезинщик. «Есть, — сказал Ванечка. — Ибо мечтаю попасть в наш вертолёт». По ночам они уже долетали до Третьей губернии, кружили над ней, оттачивая программу полёта, — но без «собаки». Ванечка плавал: как раз начали появляться полыньи, и Нара потихоньку стала соединяться с Окой, а та и вовсе впадать в Волгу. От полыньи к полынье — вот маршруты его немного судорожных (время поджимало) заплывов для похудения.

Удаче сопутствуют гранаты. Если и отстреливаться — то ими. Гранаты — спасение. Тебя дырявят, а ты не молчи... На путях всегда было много гранат, только теперь Полустанкский их не сдавал, а прибирал: прибирал, ремонтировал, испытывал, улучшал, снова испытывал и копил, пока не набралось должное количество. И Ванечке опять пришлось худеть, «на фунт-третий, дружочек».

И вот.

Накануне дрезинщик отбил ставшим дорогими существам с фотографии телеграмму, которую не могли не вручить (или даже всучить): «С прискорбием, переходящим в негодование судьбой, сообщаю, что все ваши внезапно умерли: от тоски по вам умер Семён Петрович, с которым вы долгие годы ходили в лыжные походы по весям; узнав о его кончине, умерла его супруга тётя Катя; в тот же день, остро отреагировав на почти одновременные смерти родителей, умерли их дети Тимофей, Евграф, Лео и совсем маленький Мишка, которого вы любовно называли «наш плюшевый толстун»; кроме того, зайдясь в плаче, умерли почти все их соседи по этажу, вы их не знали, но это были очень достойные люди: дядя Вася в Первую Мировую дышал вражеским газом, а его дочери, которых он чудом сумел зачать на больничной койке в разных городах родины, достойно преподавали в Библиотечном техникуме Шекспира (старшая), Бокаччо (средняя) и Кавальканти (самая младшая), а о третьей дочери сегодня помолчим, потупив взор, потому что о покойниках только хорошее. И так далее, всех не перечислишь. Сделайте же что-нибудь: поставьте столько свечек, сколько положено, и, сдерживая слёзы, отвернитесь во сне к стене. Привет милейшей собаке Кляксе, которая не стала меня кусать. Ваш участковый, который вас посадил. Кстати, поздравьте меня: мне наконец-то дали капитана».

В чём был трюк: уведомить узников о времени прибытия вертолёта — это одно, и совсем другое сообщить, что он не сядет, но зависнет и сбросит с недосыгаемой для пуль высоты верёвочную лестницу, по которой... Умно? Не то слово. Но и придурковато же, ибо кто теперь знает, на что способны

русские винтовки, когда с облачной высоты роняется что-то звонкое и обделённые зэки ноют, как старые раны, нанесённые сверчку слепой кочергой: «Вас же всего трое, а винтокрыл, небось, с самосвал ростом, ужели ещё четверых не потянет, собака...»

И вот.

На седьмой минуте подъёма один из мальчиков выронил звонкое: «Ой, я забыл папины стихи»; крик упал с уже птичьей высоты и убил часового. Другие часовые, мстя за смерть товарища, открыли стрельбу с самой высокой вышки лагеря для смутьянов, никого из сбежавших, впрочем, не тронувшую. Можно ли причислить к сбежавшим pilota дрезинщика Полустанкского? Нет: он не сбегал, а просто делал своё дело. Но пуля впиалась в него и смазала операцию.

Уже мёртвый Полустанкский, крича Ванечке: «Садимся, сбрось обороты», плюхнул вертолёт во Второй губернии на распрекрасную проталину на раздольном поле. Тут-то их и схватили.

«Сбрось обороты и гранаты» — вот как следовало, умерев, приказать Ванечке. Но Полустанкский уже умер, и его язык самовольничал.

Ванечку, поэтичного папу и мальчиков тут же избил до полусмерти, которая привела к их синхронной смерти в этот же день. А собаку отдали клоуну Карандашу для его нового номера с пастью голодного льва.

Философская дверь

В объявлениях пишут всякое, но удивительное чаще.

Так, открываем свежий номер «Новостей Брайля»... Вот, пожалуйста: «Отдам корову за молоко» (на первый взгляд, удивительно — но просто: красивая, но лупоглазая бурёнка отказалась поить нынешних хозяев; нет-нет, лелеют, но за

глаза называют её Лупоглазкой [а она ушастая], не зная, что крупные домашние молочные животные, как и некоторые другие парнокопытные, чувствительны к прозвищам: назовите хрюшку Замарашкой — и всё, никаких больше отбивных и деликатесных хвостиков в супе; надеюсь, новые коровьи ухажёры будут тактичнее).

Или (опять про корову?!): «Любящие родители купят настоящую — не из папье-маше! — корову для школьных опытов над животными для любознательного ученика-блондина» (видится это так: многоножки уже изведены, все части кроликов рассмотрены под микроскопом в проходящем свете и оказались не тем, чем кажутся на тарелке и воротнике: желудок ушастого милёныша выглядит набитым утками в яблоках, в одном из которых спрятана швейная игла-130, для самого толстокожего фашиста, а шерстинки — это линейные кривые Безье, поперечное сечение которых скорее параллелограмм, чем круг, и теперь ясно, почему, попав в нос, они совсем не смешат и оставляют на слизистой микропорезы; кроме того, дитя выяснило, что чёрный кролик никогда не смотрит в глаза кролику белому, но, если натаскать его на куст смородины, обрядив белого кролика в куст цветущей чёрной смородины, черныша не пугают даже омерзительные острые иглы: он объедает белыша до сердцевины каждой веточки; в общем, бестии стало скучно, и она потребовала коровку).

Вот редкостное (но скучное же): «Требуются двадцать отчаявшихся жить старушек для съёмок немого сериала по Хармсу. Чёрная икра на завтрак — от пуза. Тапёр — тов. Мацуев» (о чём, зуб даю, речь: в первой серии любопытная во всех смыслах старушка, только что получившая милейшую квартирку — пять двухуровневых комнат по восемьдесят квадратных, дубовый паркет, несчётное кол-во санузлов и ванн — с видом на Водовзводную кремлебашню, высовывается в окно, чтобы оглядеть окрестности, — и, подстреленная снайпером тов. старшим лейтенантом Глазастеньким, вываливается из окна, падает и разбивается, хотя слово «разбивается» тут избыточное; во второй серии старушка №2, въехавшая по обмену в квартирку с видом

на Угловую Арсенальную башню... старшим лейтенантом Остроглазовым... вываливается из окна, падает и разбивается, хотя слово «разбивается» тут излишнее; в третьей серии... с видом на Кутафью башню (тов. Мацуев играет стоя)... Глазенцов... чрезмерное, потому что глагол «разбивается» для свежего трупа, которым стала старушка после попадания в висок разрывной пули...; в двадцатой серии... Вторую Безымянную башню... фон Глазенап... наповал... как и все они, из чистого упрямства падает не в комнату с видом на, а, пересилив законы физики, из окна, и камера, которой надоело смотреть на это, отправляется на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль).

Или вот: «Перешиваю всё» (о! хорошо, что попалося на глаза: мне надоело носить толстую русую косу до пояса и я постригся до бобрика, и теперь придётся перешивать все пуговицы на всей уличной одежде, потому что обрыдло ходить в розовом и женском, чтобы менты не совали на каждом шагу повестки в действующую, даже не разобравшись, какое у меня давление и в какой стадии проказа; теперь буду дефилировать как белый человек во всём взвээсно-полковничьем: исподнем, галифе, брюках с красивыми адидас-полосочками, ватных арктических штанах, кителе, бронежилете, бушлате, тулупе, кожде и шинели, на которых, увы, пуговицы на женской стороне, потому что цапнул оптом на распродаже, даже не посмотрев, женское ли, мужское ль; непременно позвоню; ха! теперь я буду проверять у сволочей документы и всучивать им какие-нибудь повестки).

Ещё одно: «Мотороллером до Еревана за день, то есть срочно, одного человека с чемоданом литров на 65» (ничего себе; сколько же это км... положим, тысячи полторы со всеми тайными просёлочными тропами родины, склонной нынче к Хиросиме, склонной нынче к *отсоси*... И всего за день?! огневой, верно, скутер, не скутер — скакун, и грузоподъёмность отменно ослиная. Может, за сутки? должно быть, описка... как только перешью пуговицы — позвоню, и... И не в одной «Хиросиме» дело: господи, так хочется обнять сына).

А также: «Очередные Парады Лыжников перед мавзолеем Скуратова-Бельского, как всегда, состоятся сегодня на восходе, в полдень и на закате» (но, заметьте, не биатлонистов; встав в две колонны по десятеро [одна колонна в форме одной буквы, другая — в форме другой], они бегут 75-километровый марафон по брусчатке Красной; любо-дорого смотреть на витязей и зютязей, и никаких распутий, только вперёд по бесконечному неуместно топорщащемуся овалу; упавших затаптывают, затапанных — оттаскивают, оттасканных — реанимируют, не реанимируемых — награждают посмертно и относят на руках на артиллерийские лафеты, лафеты стройно движутся за похоронным оркестром [живая музыка!] на кладбище им. Неизвестного лыжника в маскхалате; в пунктах питания лыжников ждёт красная похлёбка из квашеной свёклы, на говядине и свинине [или со свиным салом] с зеленью и сметаной, а также коллективные чаепития из самовара. И пр. и др. Почтище дю Солей и Митинского крематория).

И, наконец, дух захватывающее объявление в два слова: «Философская дверь» (его дал я).

Телефонная книга

Интернетов (так, кажется, это называлось, а зимнет засуньте... куда-нибудь, чтобы тут же о нём забыть) теперь нет, поэтому я записываю свои бла-бла на автоответчик и даю объявление в «Новостях Брайля». Так я общаюсь (и мне этого... хватает).

Никакой философской двери нет, но она есть, и открыть её можете только вы — в тот момент, когда не открыть её нельзя. Или закрыть — в тот момент, когда её нельзя не закрыть. Осторожно, двери открываются — или закрываются...

Это не я — это моя последняя (свежая) гнусавая запись. Вы позвонили по телефону из объявления. Прислушайте

эти мычания и, если не жалко (или если я заслужил... встав на задние лапки?), скажите, пожалуйста, «спасибо» — если вам помогло. Ваше прослушивание важно для меня; ваше «спасибо» зачем-то продлевает ж. на один д.

А теперь о дверях.

...Вам семь лет, вы пришли из школы, в соседней комнате приступ грудной жабы убивает вашу маму, которой чуть за тридцать. Телефона в доме нет. Телефонов-автоматов в новом, ещё строящемся, микрорайоне небольшого пролетарского города нет. Да что там: в городе нет даже автоматов газводы. Скорая помощь, наверное, есть, но далеко. Соседи, как и весь дом, на работе. Крикнуть в окно: «Помогите» — всё равно что выпасть в окно: заметят вечером, если разглядят в сумерках, а заметив, уже не помогут: некому помогать, вы уже ничто, а витающая рядом душа неосвязаема, но и она, знайте же, не отказалась бы от припарок. Однако «в дальнем подъезде, — задыхаясь от боли шепчет синими губами мама, — есть бабушка... она работала фельдшером, у неё должна быть камфора, она, я слышала, делает уколы, сходи к ней... правда, я не знаю номера её квартиры... тебе надо спросить у кого-нибудь в их подъезде. Егорушка, мне кажется, я умираю».

Вы рыдаете; плачет мама. «Егорушка, иди. Я... подожду».

Вам семь, вы болезненно застенчивы, вы попросту дики, вы не здороваетесь с чужими взрослыми, рядом с которыми живёте уже три года, не потому что не хотите — вам неловко. Переступить через эту неловкость, чтобы отыскать в 20-квартирном четвёртом подъезде старушку и попросить её немедленно идти за вами, потому что мама...? Старушку вы, конечно же, знаете: она грымза, она живёт с собачкой, собачка однажды была ненарочно «ушиблена» вашим мячом, старушка выговаривала вам каждый футбольный день по пять минут, набежало на тайм, вы чуть не плакали, вам семь, мяч сам...

Вам семь, вы дикий, вы вешаете на шею ключ на резинке и не спускаетесь, а поднимаетесь, поднимаетесь на крышу, потому что кто-то забыл повесить замок. На крыше вы подходите к самому краю и осматриваете двор: ребята играют

в футбол, девочки играют в классики, а вам хочется прыгнуть вниз, потому что это проще, чем стучаться в чужие двери. Но мама...

Вам семь, вы ужасный, вы спускаетесь вниз и становитесь на руки, уперев ноги в стенку: так вам лучше думается: «Мама одна, и ей нужна помощь, помочь могу только я».

Вам семь, вы способны на всякое: вы отнимаете у девочек баночку из-под ваксы, наполненную окским песком, и проходите все квадратики, прыгая на одной ноге. Но мама ждёт...

Вам семь и иногда вы думаете о футболисте Кожемякине: около третьего подъезда играют в футбол, вы спрашиваете: «Можно?», вам отвечают: «Давай», и вы забиваете гол. Но ведь мама...

Вам семь, вы придурок: вы не позовёте взрослого, даже если сломаете ногу, упав с третьего этажа строящегося дома, вы будете молчать, строители так ничего и не узнают, ребята, с которыми вы играли, сами отнесут вас домой. Вы спрашиваете у других нападающих, не знают ли они номера старушки с собачкой. Не знают; не знают; кажется, шестьдесят первая. Точно, она же с первого этажа. Вы забегаете в четвёртый подъезд и застываете у её двери. Вы не можете позвонить, вы не можете постучать, вы такой застенчивый мальчик.

Вам семь, и вы начинаете дико кашлять, вы заходите в кашле. Искомая старушка открывает дверь, — и вы бросаетесь к ней и обнимаете её крепко-крепко: «Бабушка Фрося, бабушка Фрося...»

«Что, что такое, Егор? Что-то с мамой?» Вы утвердительно трясёте головой, стучась о плечо старушки (у которой будет синяк): «Стенокардия, укол, камфора, прошу вас, мама просит». — «У меня нет камфоры, кончилась, но я знаю, у кого она есть, ты сбегашь и заберёшь, я уже пишу записку, через... раз, два... пять домов, Анна Петровна, от меня, написала, несись, у тебя ключи есть? давай, я беру шприц, я посижу с мамой, а ты одна нога здесь».

Вам семь, но вы уже «открыли» одну дверь, и вы не хотите стоять на руках, чтобы подумать, куда бежать и как быстро надо бежать, вы бежите, вы очень быстро бегаετε.

Вы на месте, вы откашливаетесь и вжимаете кнопку звонка. Никто не открывает. Вы звоните ещё раз. И снова. И опять. Никого.

Вам семь, и вы очень быстро бегаєте. Вы прибегаєте домой с пустыми руками, вы рыдаете, и мама с бабой Фросей спрашивают у вас: «Никого нет?» — «Никого нет». — «Ну и ладно, — успокаивают вас мама и баба Фрося, — ну и ничего, мне, маме стало лучше. Всё будет хорошо, Егорушка». Губы вновь мамины, а не синие.

Через тысячу лет я прочитал, что сволочная грудная жаба косит молодых женщин на счёт «раз», а остальных отчего-то бережёт... ну, может поберечь.

Мне было семь, и я так и не открыл ту самую дверь, которую должен был открыть. К счастью, она открылась сама.

Мне повезло. Представить не могу, что стало бы со мной, если б не это везение.

Это история выедаєт меня всю ж.

Но я пообтесался и с тех пор стараюсь открывать все подобные двери.

И закрывать тоже.

Я не люблю машины, я люблю электрички. Пропади они, конечно, пропадом, но было время, когда они были нашими: в них ночевали, поругавшись с женой; они не интересовались билетами, когда у всех кончились деньги: они катали нас за одни грустные глаза, не требуя ничего взамен, и стали родными.

А среди родных кого только не бывает, даже футбольные болельщики.

Вы плетётесь в железном ящике домой, растворившись в книжке; буквам темно, но книжка любимая, вы полупомните её наизусть; дом через остановку. А по вагону безмолвно бежит окровавленный неждешний, которого гонят в тупик, в хвост, чтобы там затоптать. Это гопники, возвращающиеся с футбола. И никому нет до этого дела.

Вам тридцать с небольшим, и вам — есть дело, потому что это гопники, и они мешают вам жить. Вы срываетесь с места, сказав кому-то: «Пожалуйста, подержите “Онегина”».

Вы вклиниваетесь между загоняемым и первым загонщиком, и роняете загонщика на пол — не потому что умеете, просто творимое выедаёт вас, и не уронить было нельзя, невозможно не уронить.

Вы заскакиваете за загоняемым в тамбур и закрываете двери. Но эти двери очень легко открываются, когда с той стороны гопники, а вы один. И вы кричите загоняемому: «Сэр, дайте свой ремень. Снимите с себя ремень». Он снимает ремень, и вы накрепко закрываете им двери. Гопники беснуются, а вы, наконец-то испугавшись, кричите им детское, кричите им глупое: «Осторожно, двери закрываются».

Вы ждёте своей остановки, не показывая виду, прижавшись спиной к избиваемым ногами дверям. Избитый нездешний стоит перед вами. Вы вместе ждёте вашей остановки.

На остановке вы и нездешний выбегаете на платформу. Гопники, к счастью, не успевают добежать до другого тамбура. Вы благодарите нездешнего за помощь и идёте домой.

Вот вы и закрыли одну из таких дверей. Не успокаивайтесь на этом, старайтесь и впредь закрывать такие двери.

Заканчиваясь, запись на автоответчике благодарит тех, кто дослушал до конца и вот-вот произнесёт: «Спасибо».

Сегодня — я говорю это за пять минут до полуночи — было пять спасиб. Спасибо.

Послезавтра, даст бог, будет новая запись, о чём я сообщу в разделе объявлений «Новостей Брайля».

До новой встречи на волнах проводной телефонии :-).

Ярополк

И снова через строй его и по губам, и хорошо спетым хоровым тенором: «Не обещай без нүжды, сволочь». А потом по-спартаковски: «Ба-бу! ба-бу! ба-бу! По-нял?»

«Вот теперь понял», — шамкает сквашенными губами Адик.

«Понял он... Он понял? Вот теперь он — понял. Какой раз через строй пропускаем, Адик?» — «Сбился со счёту». — «То-то, Ярик». — «Ты же Ярик?» — «Ярик. Но лучше Ярек». — «А почему ты Адик, напомни-ка...»

Сначала он привёл резиновую, но нашу — когда окопные волны докатились до авангардных пядей родины и рыть было рукой подать. Раскусив малосортность бабы, бойцы гневилась: «Маде ин наша, не то, не та, Адик, даже не заводная», но вкушали, — и тень детской улыбки трогала их спящие подле бабы битые калачики и заросшие волчьей шерстью лики, приютившиеся на белокожих ладошках, то правой, то левой. Но по губам всё равно шлёпали, не могли смолчать: «Мой её чаще, Ярик, от неё несёт жигулёвской покрывкой». — «Фиатовской, господя бойцы», — защищался Ярек. — «Нет, Адик, жигулёвской. И завей её, что ли: не любим мы с каре. И пусть станет блондинкой вот с такими ногами», — и, разводя руки, показывали ноги разнообразных длин и кривизн. А молотком по рукам не били — ибо «наша врубовая машина», и вздорные усики, схватив за руки и сев на ноги, не выщипывали, потому что пусть их, простительны, у некоторых и таких нет, ибо 18-летние.

Столетняя война, учит нас Клаузевиц, это открытое мокрое море с приливами температуры и отливами воспалений. Откатившись в позавчера, когда окопы были свежими, а бойцы живыми, Ярек набрал полный рот слюны и плюнул на принципы — и начал копать в ту сторону света, откуда прилетало, после чего никто никого не откапывал, какие бы мольбы ни доносилось из-под недр. «Сам ты зверь, мужик», — шептали про себя живые ещё живым, но заваленным, чувствуя себя последними свиньями.

Так Ярек ступил на скользкую дорожку тайных пластунских... Нет, сначала, чтобы отстали и дали своевольничать, он встретил одну молчаливую медсестру, сделал ей красивый комплимент из старинной книжки, которую ему читала бабушка, и обменял его на уговор об

уколах: медсестра наведывалась в их окоп под видом бабы, делала укол за уколом, и бойцы сладко спали, как им казалось, рядом с бабой, взяв в руки её огромные сладкие груди.

Так Ярек ступил на скользкую дорожку тайных пластунских запалзываний на Ту Сторону. Что, конечно, отщепенство. «Добуду им бабу-языкá и искуплю», — оправдывался перед собой Ярек (или, если по военбилету, Ярополк; по батюшке, кстати, аж Святославович).

Вышло добрее и человечнее, и уж Ярек-то заслужил и такое отношение к себе, и этакий судебный извив (зигзаг, гм, судьбы). Но досталось и другим: тем, кто оттаял, кто сумел.

Однажды Ярек выполз на свет в настоящей детской песочнице, когда та вкальвала на полную: пекла кирпичики и строила из них неприступные крепости. «Ой, — воскликнули на близком языке вражеские малыши, — крот. Ой, не, не крот, а человек. Ой, да это же лазутчик». — «Землекоп», — поправил Ярек. — «Нет, лазутчик, — настояли на своём карапузы. — И мы сейчас это тебе докажем. Дядя лазутчик, скажи: розбрунькóуватися». И, повиснув на Яреке, дали подзатыльник, дёрнули за оба усика, обозвали «мелком от тараканов» и приказали нести их, шагая печатным пряничным шагом, к мамам. Не сплеховали и мамы: связали отощавшему Яреку руки (сам предупредительно выставил; «Ой, какие они у тебя мозолистые; шахтар, что ли?») и, не отравив, накормили объеденьем: не какими-то там щами — но борщом, подавая его чистой большой ложкой. И, подкрепив, выпевая: «Ти признайся мені» (сл. и муз. Вл. Ивасюка), повели на верёвочке во вражескую контрразведку.

«Вот, выполз из песочницы в мирном городе, — сказали мамы вражеским контрразведчикам и дали Яреку подзатыльник. — Поговорите с ним, накормив, ибо мощи, а не, сука, диверсант».

«Ярополк, — гладко и мягко расстелили Яреку в изуверской вражеской контрразведке, — это же кто, знаешь, нет?» — «Не-а». — «Это вдохновляющий войско. Вдохнови своих, Ярополк свет Святославович, а? Хватит тебе умирать. И им

довольно. Своди их... сползай с ними на экскурсию в наш мирный город, покажи хлопцям, що наші діти, наші мами та навіть ворожі контррозвідники, люди, а ніякі не фашисти, домоворились?» — «Ох, я не знаю, но я попробую», — сказал Ярек, ступив на зыбкую ледяную дорожку предательства, ибо какое же это предательство: предать предателей родины и наслушавшихся их баранов?

«Всё, свободен, Святославович, ступай сам в свою песочницу... Нет, погоди, мамки сказали, что ты голодный. Похлебаешь с нами не отравленного борща?»

Утром возле каждого бойца в окопе Ярека лежала свежая, ещё тёплая паляница, а мордуленции солдатиков были расписаны пышными усами из зубной пасты.

Не удержалась вражеская контрразведка, проверила Ярека, сползала, провела диверсионную операцию.

Сомневающимся, твёрдых, ледяных-ледяных, с которых даже не закапало, Ярек и примкнувшие прикопали — прикопали и поползли смотреть на врага вблизи, смотреть и даже невпопад подпевать, когда враг вдруг запевал; поползли греться душами.

Ярек экскурсоводил: «Вон мазурки танцуют; а вон там, рыдая, бегут в убежище от наших «Фау»; а тут — на три часа, пацаны, — милые курносые мамы кормят грудью милых совсем мелких девочек и мальчиков, и никто, заметьте не отстреливается. И ноги у мам, обратите внимание, как у пушкинских девчонок. И смеются они не как гиены. А уж поют как. Ей-богу, так бы тут и остался. Генерала бы им привёл — и остался. Генералом ведь даже землю уже не удобришь — скурвится земля, вырвет её до позеленения и плохой кирпичной глины. Привёл бы, самого его не спрашивая. А?» — «Это можно, — согласились, насмотревшись, пацаны, — а заманим генерал-майора бабой».

Гм. Кха. Кхе... Вот и подошёл к концу наш трогательный и немного сусальный аркадийаверченко.

Генерала, конечно, заманили, это не то что пареная репа, это танец «Валенки». И языком генерал оказался сказочным: вражеские контрразведчики, единожды дав ему подзатыльник, получили все-все сведения, и даже больше.

А Вдохновившего Войско закололи предлинным трёхгранным шилом через почтовую щель аж в самом Лиссабоне, куда он зачем-то попёрся. Помалкивал, рылся в себе и на заднем дворе, выставив периметр, а всё равно закололи. Подошла одна длиннорукая почтальонша и пронзила. И была такова...

Не голливуд же, война. Идёт ещё, сука, и конца-краю ей...

Пиво лучше пить холодным

Это сложная пьеса, говорит режиссёр (а может, автор). Мы его не видим (это тоже говорит режиссёр, или автор, но это так, к слову), но это наверняка режиссёр (или автор), и он любит покровительственно и смешливо трепаться, хотя иногда стоило бы помолчать: скажем, когда герои... нет, лучше персонажи... когда персонажи будут качаться на тарзанках, это навернёт (гм) у многих слёзы, а слёзы требуют обходительной тишины, а он как рассмеётся... Впрочем, даже говоря через губу, он очень вежлив (ничего, что я треплюсь о себе в третьем лице?).

Эту морально и физически сложную пьесу смотрит целый зал. Мы его не видим, но там, должно быть, стульев семьсот (стулья, впрочем, прикручены к полу, швыряться ими нельзя), и когда он, ёрзающий на стульях любящий зрелища народец, кашляет в семь сотен глоток, или взрывается, или лезет в карман за накрахмаленным носовым платком, или чешется, или наливает в стаканы портвейн (а на такой сложной пьесе это допускается; старушки в чёрной униформе с эполетами не подбегут, чтобы ударить, обещаю) — это... это добавляет на сцену ещё одного персонажа... или даже героя.

Тихо, орёт голос (режиссёра или автора) за сценой, над сценой, под сценой, справа и слева от сцены, а также на сцене (хотя на сцене пока никого), три, два, один, встречайте господ персонажей аплодисментами. Двое-трое надрывно кашляют, но никаких аплодисментов. Это сложный зритель, говорит бог знает кто (то ли р., то ли а.).

На сцену... впрочем, какая это сцена, сцена — это что-то картонное, недоживое и полуплоское, а тут внушительный кусок пространства, занятый всякой подлинной чушью на потребу этого, простите, недоделанного «Иванова», с ударением на «а». Водкой в этом куске пространства можно напиться до рвоты в авиапакет, а женщину — буде какая выскочит полуодетой на балкон — можно потрогать, покурить с ней, попросить её пройти по парапету, и, когда она свалится вниз, долго провожать взглядом её полёт и растекающуюся красным отбивную.

В пространство в хорошо отрепетированную припрыжку вбегают Геша фон Боден-Поттхаст 44 лет, по мнению Википедии, один из главарей, Йоси Квандт 47 лет, ближайший и верный, и Ади Браун 56 лет, основоположник. Фамилии, говорит голос, не совсем их, но и не вымышленные: «Это всё жёны, — твердили они, когда мы ещё позволяли им твердить, — не было б жён, не было бы Аушвица и кастрированных (прежде чем отправиться в печь) цыганских баронов; жёнам нужны концертные костюмы, табуретки с изменяемой высотой, пианины “Блютнер”, чтобы быть в настроении, наигрывая “собачий вальс”, и гимнастические чешки, что так хорошо чувствуют педаль “форте”, — и мы лезли из кожи вон, чтобы обеспечить их всем этим. Все эти Аушвицы и кастрированные бароны — это всё наши жёны, то есть небольшое жизненное недоразумение». А раз жёны — имена у парней уменьшительные и даже ласкательные, зато свои, зато не Пупсики, трёх Пупсиков даже эта сцена не вынесла бы.

Вопросы из зала, говорит голос, не возбраняются; только об одном, прошу вас, не спрашивайте: как им, собакам, спится по ночам, ибо даже не возлают они в

ответ, ибо, не став отрезать им языки — здесь хватает одного резонёра, — мы зашили им рты крепкой суровой ниткой (русские подшивают такой валенки; нет, не песню). Слышу, говорит голос, что кто-наливает... ах, какой аромат... ба, да это баварское из самого Хофбройхауса; так вот: пиво лучше пить холодным.

Парни, говорит голос, алё, мальчики, отомрите, хватит стоять столпами, мы же так долго репетировали. Ну-ка. Геша, Йоси и Ади в полной тишине задирают канканически ноги. Звучат аплодисменты. Геша и др. кланяются и разбредаются по пространству.

Ади, разбежавшись, долго и счастливо скользит по гололёду на асфальтированной дорожке к зданию с несколькими трубами, но это не завод, не надейтесь; вскоре дорожка раскатывается до блеска, и Ади летит всё дальше и дальше, до самых дверей. Хорошо, Ади, говорит голос, вы умница, на репетиции было хуже, вы наконец-то собрались и блеснули. Зрители, где же ваши жидкие хлопки в детские ладошки с синими прожилками? Первому хлопнувшему Ади наверняка нарисует его акварельный портрет. Правда же, Ади? Ади мычит и усердно кивает. Нарисует-нарисует. Ну же. Да ну вас.

Йоси, взяв жестяной рупор, громко и отчётливо мычит в него битых два часа. Когда мычание окончательно садится, идёт к спортивной площадке. Очень хорошо, Йоси, говорит голос, это пригодится, вы умный, Йоси. Йоси ставит стул, чтобы дотянуться до гимнастических колец; повисает на них, делает несколько переворотов, а потом молодецки застывает в кресте Азаряна. Зрители считают: «...сто тридцать пять, сто тридцать шесть... двести пятьдесят четыре...», но на пятистах сбиваются. Йоси продолжает висеть до конца акта. Это скучно, на него уже не смотрят, и только военные корреспонденты (должно быть, первый ряд в зале, или же с театральными биноклями) любовно фиксируют каждое вздрагивание лицевых мышц и трицепсов. Поаплодируем же военным корреспондентам, время от времени говорит по бумажке голос, которым приходится. «Приходится» и продолжение чьей-то мысли тонет в громе оваций.

Геша — загорает: Геша долго шёл за солнцем к горизонту, пиная впереди себя тяжёлую консервную банку «Бычки по-подводнофлотски», в которой целыми кубриками в собственном соку томятся экипажи вражеских субмарин, израненных глубинными бомбами; проголодавшись, он раздербанил банку камнем и поел руками; банка стала гулкой и на пинок отвечала новыми прыжками и полётами; потом Геша отловил крысу и голыми руками привязал банку к её хвосту, радуясь так, что его галифе окрасились влажным; в общем Геша наткнулся на маленькое внутреннее море и, накупавшись, лёг загорать. Правильно, герр Геша, когда ещё удастся позагорать, произнёс голос безо всякого сарказма.

На этих трёх пасторалях закончился первый акт, предварительно спросивший персонажей голосом голоса, не хотят ли они произнести последнее слово. Персонажи и ухом не повели. Не хотят. Ладно.

Второй акт последовал тут же (хотя, судя по звукам, среди невидимых зрительских стульев зашаркали разносчики сбитня и русской живой колодезной воды. Сбитень пьют тёплым, напоминает голос; если попал не в то горло, глотните живой колодезной): рабочие сцены... рабочие пространства в палаческих капюшонах, прокричав Геше, Йоси и Ади: «Посторонись», сначала выжгли огнемётами всю ту полновесную живую чушь, которая занимала персонажей и зрителей, а потом приладили к потолку три удобные верёвки со множеством петелек и петель, похожих на галстучные. Став голым, пол пространства обрёл байкальскую прозрачность. Персонажи ступали по нему со всей осторожностью, боясь кануть и оказаться на таком далёком дне.

На верёвки, пожалуйста, сказал голос; простите, господа, но я загоняю вас на верёвки; нет, Ади оставьте центральную, прочие на ваше усмотрение. Всё вы знаете, говорит голос, кто, куда, для чего всё это; только не надо ля-ля, то есть му-му: репетировали-репетировали, а вы вдруг растерялись. Никакой страховки не будет: ни лонж, ни сеточек внизу, что вы как маленькие... Полезли; молодцы; так висеть.

Под висящими исчезает пол. Теперь под висящими НЕТ НИЧЕГО. Кто-то из зрителей бросает на сцену... в пространство камень и кричит: «Тихо, я слушаю. Да не сморкайтесь же вы». Через час до зрителей докатывается первое эхо от падения камня. Ничего себе, говорит голос; только не смотрите вниз... или смотрите.

Верёвки расположены так близко, что, раскачавшись, можно пнуть соседа ногой или заехать ему в ухо с правой. Ади бьёт Йоси, Йоси бьёт Гешу, Геша бьёт Ади. Если только одной, скажем, правой, ногой, а не с правой в ухо, то, по мысли комбинаторики, говорит голос, эта сцена без повторений явит вам всего 6 действий... Всё хватит орать, дайте мне сказать, чего это я перекрикиваю вас, как учительница Марьиванна, а? А если с повторениями — 27. Повторения скучны, но кровеобильны и срывают глупые подростковые аплодисменты... Ваши аплодисменты.

Если устанете висеть, хотя тут столько петелек для ног и рук, говорит голос болтающимся на верёвках Геше, Йосе и Ади, подтяните ноги к груди — и прыгайте так, словно сидите на очке под самой Вологдой. Пролетев несколько континентов, вы сядете на русский осиновый кол в толерантной Австралии. Там их понатыкано, уверяю вас.

Или прыгнуть, подначивает голос, или головой в петлю. Кто решится упасть? Кто предпочтёт в петлю? Кто свалится первым? Кто первым удавится? Ставки принимаются, говорит голос.

«Ади первым сунет голову в петлю», — кричат с, гм, галёрки.

По мнению смуглого горбоногого человека с, гм, галёрки, Ади первым выберет петлю — раз, Ади первым повесится — два...

«Йоси свалится первым», — кричат из средних рядов развесёлым детским голосом.

Йоси, упав в пропасть, первым сядет на русский осиновый кол, по мнению девочки с огромными грустными глазами из средних рядов, — раз, говорит голос, Йоси — два...



Massachusetts

Слова и музыка БАРРИ ГИББА,
РОБИНА ГИББА и МОРИСА ГИББА

Moderately

G

mp

G Am C G

Feel I'm go - ing back to Mas - sa - chu - setts;
Tried to hitch a ride to San Fran - cis - co;
Talk a - bout the life in Mas - sa - chu - setts;

mf

Am C

some - thing's tell - ing me I must go
got ta do the things I wan - na
speak a - bout the peo - ple I have

Henry Lee

Слова и музыка
НИКА КЕЙВА

♩ = 56
Am⁹



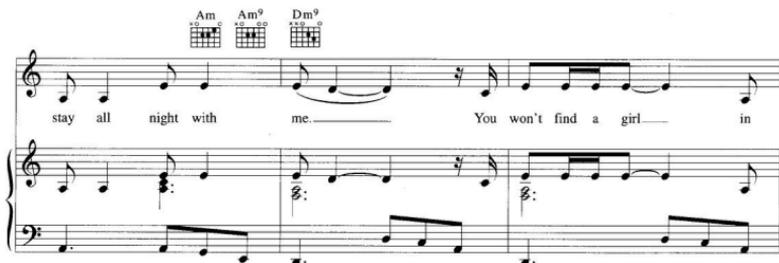
Am⁹

1. Get down, get down, lit - tle Hen - ry Lee and
(Verses 2, 3, 4 & 5 see block lyric)



Am Am⁹ Dm⁹

stay all night with me. — You won't find a girl — in



Свинец во рту

Как же умно лучшим из нас придумалось: зашивать рот — коли теперь у них только одна крайняя мера: заливать наши рты свинцом.

Цацко-пещкость их всё-таки погубит: в казённой грамоте, туманно названной «Заветами Ильича», указано строго-настрого — и в букве прописано, и дух вопиёт, — «...при температуре кипения в ротовое отверстие. А буде кто своевольничать станет, разливая плещущий свинец в другие человечьи полости через иные дыры тела, его без суда тут же бить всем наличным народом смертным боем, и котлетные останки отдать волкам, призвав их в полночь дудкой десятника, каковой потребные ноты сызмальства знает».

Зашили ротовое, — и что теперь делать будете, с-с-сатрапы?

Писать всякий с пелён умеет: задышал человек — и на тебе карандаш, солнышко, строчи поэзы, трактаты, а на ябеды не налегай.

С чтением из-за нашей полуслепости — головоломней: пенсне специальные умные люди выдумывали с XI века, а всё равно подслеповато, но ничего, ничего-ничего, освоились, почитываем понаписанное за всю историю рода. В метро были на рассвете? — всякий глаза добивает. Вчитываться, постигать, а потом и дописывать тоже теперь умеем. Подвижка не стоит!

Когда бьют и бьют, несмотря на то что это терпимо, даже если всякий час и по расписанию, то поневоле каешься: умею, да умею я, мучители, читать. И они тоже каются: «Прости, что лупасим. Работа, и каторжная. Но пенсне, прости, стащим с носа и при тебе молотами раскрошим. Чего там, кстати, пишут-то? Своими словами своим поганым ртом можешь поведать?» — «Все 20 веков нашей неосознанной письменности?» — «Ну а чего, времени у нас не огребёшься». И плюс на плюс даёт благоприятное: посвящённые, они тоже в муках постигают буквы. А где постижение — там и счастье всему роду.

Осилив чтение, сатрапы стали шерстить берестяные, костровые, электрические и заборные грамоты. Но теперь, бичуя тело и молотя пенсне, они каялись, что тоже почитывают. А спустя декады лет — что теперь ещё и пописывают, ибо «надо же вас как-то побарывать». А так, кроме прочего, откаявшись о служебном, бытово плачутся, что вши, что жёны, что жалованье, что у начальника мерин лучше, но никак недохнет, что майские жуки повадились налетать в апреле, а «У-2» висит над огородом и считывает... «Что же он считывает, живодёр?» — «А, геном брюквы, наверное».

А потом землекопы, роющие, как наказано пращурами, до нижнего края, дабы через дырку показывать детям, выжившим в подземных лабиринтах, слонов, наткнулись в недрах на жирные жилы, и даже трубки, древних кабелей, тучных свинцом, — и наступил високосный шаг вперёд.

В этих бездельных кабелях, как в самобранке, застыли целые карьерные и мусорные самосвалы, целые желдорсоставы слов, знаков препинания и умляутов, складывающихся по мере разгадывания в любовные записки, ежедневные газеты, угрозы, романы и подмётные наветы.

Свинец же, которым кабеля только что не сочились, пошёл в дело и тело: им стали заливать сначала грязные, а потом и непослушные рты. Морок свинца во рту длился веками. И вновь каялись истязатели списком без повода и штучно — с ним: «Прости, что заливаем в ротовое».

Наконец, двум-трём едва выжившим привиделось (а нами радостно подхвачено), что рты со свинцом — последний бастион перед... свободой? хотя бы свободой слова? — передней и перед ней, знаете ли. Ибо, если пращуры заливали кипящий свинец куда им вздумается, в любой кусок человеческой плоти (а не отыщут из-за сумерек и вьюги естественных дырочек — свои проделают шилом или ледорубом), только бы укротить непослушного и преподать урок прочим, то нынче — всё, конец вольнице: закон вышел, «Заветы», между прочим, некоего «Ильича».

Взыскательный и неукоснительный, с божеской думой о наказываемом: «Только в рот» и невозможный для отмены: «...буде кто покусится на упразднение сего уложения — будет тут же сам отменён для жизни на родине и всенародно колесован, а там катись куда хошь. Я сказал, и это на всё время, пока выглядывает и дотягивается до нас красно солнышко».

Руки, разумеется, как рубили, так и рубят. И целые, и по пальцевой фаланге раз в день. Но что нам руки и пальчики, когда они легко наращиваются красивыми деревянными протезами, даже если по локоть отняты. Нарастил — и стучи по клавишам, и води вставочкой по бересте. Второй раз срубить не выйдет — запрещено, с-с-сатрапы. Или диктуй проверенному человечку свои жемчужные мысли и бестселлерные лагерные романы, чтобы не ты пятки чесал, а тебе почёсывали.

И ноги, конечно, рубят, но ноги-то письму с чтением никак не мешают.

Головы саблями на всём конном скаку? — привыкли, но до сих пор удивляемся: зачем вам столько голов, когда футбол в зачаточном?

Закапывают заживо? — ну а куда же без этого? Всех-то не закопаешь, м-м-мучитель.

Они нам рот свинцом — а мы рот зашиваем и бунтуем яростно и свободно.

И большей подлости, после свинцовой, им уже не изобрести (пока ушлый и вёрткий бабуинский мозг при родах не выковыривают из младенцев). Все перепробованы, ни одна им не впрок, а нами терпима.

Будущее — светло.

(И лишь одно пугает: они не снежные, одного с нами рода, а значит — упрямы...)

Ах! Тут было глазасто увидено: ледяная переправа через родину подтаяла и подтаивает. Полыньи — замечены.

Кабы знать, как, если совсем оттает, пересекать родину поперёк, чтобы шагать вдоль не в ногу на той стороне...

И кто-то уже вспомнил вычитанные в кабельных залежах два неведомых слова: «плот» и «пароход». Научившиеся разговору немых уже гадают и до ссадин дискутируют.

Авось смикитят.

Весёлые детали скуки

Втыкайте же последний штекер, барышня. ОК, пошли гудки, барышня; спасибочки, с меня поздравительная телеграмма. Алё, дорогая редакция, прими заметочку. Я диктую.

Это Ваню Бодхидхармов, подмётный листок «Новости Брайля», с колоночкой «Своими словечками». А своими — потому что, прочитав одно из наших недавних чудобъявлений, я позвонил по указанному тел. ХРМС-1234, и мне вкусно изложили, а я вам сейчас ка-а-ак перескажу, и вы закачаетесь.

Объявочка была о 20-серийной немой телефильме, в которой любопытные старушки, переехавшие в новые квартирki с видом на двадцать башенок Кремля (нет-нет, у каждой старушки своя башенка), будут убиты наповал зоркими дозорными снайперами, которые двадцать раз посчитают высунувшихся из окна старушек угрозой всяческой безопасности. Скука, согласитесь, смертная, но детали — завораживают. О них и речь.

Некий М.Грим (вот так, без пробелов после именной точки: мgrim, или даже эмgrim), сочинивший телеопус, считает, что первую старушку звали Фанни Ивановна Каплан и это дочь той самой славной Фанни Ройд (она же Каплан), что отважилась покуситься на некоего упыря Ильича. Кровная месть? — несомненно, она, «Кровная месть»: таково название мgrim-литсценария, но постановщик решил по-своему: «Стрельба: удавшаяся и нет», и бог ему райсудья. То есть никакого

любопытства во всех двадцати случаях, никакого залапанного массажи до трупного воска святого Хармса, только святой долг перед убиенной мамой (и, замечу, по-детски опережая себя, другими родными).

Фанни Ивановна, старушка 66 лет, продав всё вплоть до долгов картёжника внука, купила квартирку напротив Водовзводной башни, чьей обороной в то время командовал бывш. комендант Кремля и пожизненный балтийский матросик Мальков. Вы готовы продолжить? — вы готовы продолжить: Фанни-старшая, пепел которой бла-бла-бла в груди младшей, была убита лично Мальковым. Говорят, что рядом с расстрельщиком держал свечку некий обморочный куплетист Придворов, которого Фанни-младшая нашла и ликвидировала накануне переезда под стены К. (не без «Моссада», который безостановочно сообщал GPS-координаты цели на фитнес-браслет старушки, внушительно добавляет М.Грим). Как, разумеется, и внука тов. Свердлова Васю, ибо дед распорядился прикончить Фанни-ст. Вася оставил трогательную записку: «В моей смерти прошу винить участкового, который вчера, собака, приходил и два часа нудел о том, что я не даю спать дому, распивая спиртные напитки. Ей-богу, достал. Нет моих сил». Оставил — и оттолкнул прочь табуретку, на которой стоял. (Всё правильно. Ну а чего кричать о душегубе деде? Кто его помнит? кому он интересен? кому вообще интересна чья-то нежёлтая смерть? Месть, верит М.Грим, должна быть тихой, но её должно быть много — чтобы читатели «желти» задумались, начав прикидывать к носу факты, а факты яркие: 19 старушек выпали из окна в один день и час. Но об этом ниже. Думаете, им, читателям «МЭКэ», не уловить такое? И я так думаю.)

Да-да, смерть Малькова... нет, смерть всё-таки малькова, так лучше... безвременная кончина малькова не должна была выглядеть убийством. Посему подготовка Фанни-мл. к мести поражает: чтобы скрыть следы своего происхождения, старушка семиразды фиктивно бракосочеталась и на момент предполагаемой ликвидации Малькова звалась Ивановной Иоановной Ивановой, была истой православной,

по национальности — коренной монголкой, а происходила из вятских крестьян и никогда не была ни в оккупации, ни за границей. Пенсионерка, награды (почётный знак НКВД), в недавнем прошлом отбеливательщик зубов и зубных протезов, ударник комтруда. Не подкопаешься.

Улетая куда-то на вертолёте, внук Ванечка подарил Фанни-мл. искусно выточенный им деревянный автомат «шмайсер» с деревянным же оптическим прицелом. Об автомате и речь.

«Гражданка Иванова И. И., 66 лет, потомственная москвичка, из крестьян, высунулась из окна недавно приобретённой на нетрудовые доходы квартиры и пристально уставилась на Водовзводную башню Московского К. Старший лейтенант Глазастенький, дежурный дозорный снайпер полка, охраняющего башню, сканируя вверенный ему сектор горизонта, обнаружил гр. Иванову и сделал предупредительный выстрел в квартиру выше. Гр. Иванова показала ему средний палец и достала автомат “шмайсер” с оптическим прицелом. Ст. л-т Глазастенький выстрелил на поражение, но промахнулся, разбив в глубине помещения школьный менисковый телескоп МаксUTOва. Умело маневрируя в окне и проявляя очевидную агрессию, гр. Иванова приложила глаз к прицелу, а указательный палец водрузила на курок. Ст. л-т Глазастенький, сделав несколько неудачных выстрелов, вызвал по радиации начальника охраны башни балтийского матроса Малькова. Тем временем гр. Иванова, выстрелив из вражеского автомата “шмайсер”, тяжело ранила ст. л-та Глазастенького, который вскоре скончался на руках своего начальника. Дело героя продолжил балтийский матрос Мальков [в этом месте литературного сценария звучит величественная музыка песни “Валенки”, которую исполняет пианист Мацуев. — И. Б.]. Его меткие выстрелы поражают нарушительницу в нескольких жизненно важных местах её тела, и тело, наконец-то перестав отстреливаться, падает вниз, где его рвут на части возмущённые жители города. Bravo, меткий заслуженный балтийский матрос!»

Так отчиталось о происшествии «Телерадио Брайля». Переврав, разумеется, всё. Мальков, который мельтешил и

орал за спиной косоного снайпера, не способного уложить юркую старушку, распереживался до такой степени, что его хватил немедленный летальный инфаркт. Не убийство, но Судьба. Как и задумывалось. А Глазастенький, сделав уйму выстрелов, всё-таки подстрелил отчаянную старушку, и она...

В день, когда машины окончательно вросли в снег, а люди стали тихими, как свистки сметённых временем городских, останкам Фанни-мл. вручили билет «туда» и выслали вечерним самолётом в Вену.

Деятнадцать (19) других старушек, как утверждает М.Грим, действовали не порознь, а вместе (!). Мы-то, наивные, решили, что они, одна за другой, мстили убийце родных и близких в разные годы, не зная о существовании друг друга. Но нет...

Сколько у меня осталось строк, дорогая редакция? — «Закругляйся, Ванечка: шестнадцать строчечек». — Хочу ещё, но — уложусь.

...Составив любопытнейший заговор (о котором как-нибудь потом, в отдельной заметке), 19 старушек действовали как одна — и очень напористо. Оружие было настоящим; оружия была прорва; старушки годами тренировались в стрельбе и достигли известных степеней, несмотря на то что огневой шторм, который они устроили, не предполагал особой меткости: он просто накрыл весь К. Стрельба велась из девятнадцати окон, глядящих на девятнадцать же кремлебашен. Старушки самонадеянно полагали, что в устроенном ими урагане не спасётся никто. Тем более что атака началась в момент прибытия в К. их единственной цели: Никиты Кровавого. Старушки падали из гранатомётов, башни отстреливались. Огневая буря бушевала 19 часов. Результат известен — и не известен: 19 старушек пали из окон смертью воистину храбрых; кремлепотери велики, но среди них, увы, нет Никиты Кровавого...

А можно ещё полторы строчечки? — «Давай, Бодхидхармов».

...Зато был легко, но очень иронично ранен Лёня Бровастый. В ягодицу.

До свидания, редакция, до новых встреч, дорогая. Барышня, целую крепко, будто в последний раз.

Смех без особой причины

Сначала, впрочем, их строят и немного муштруют, чтобы успокоились: «Направо, налево, кругом, шагом марш, нет, милые, не с правой, а с левой, ещё раз, бегом в колонне до леса и обратно, отставшие будут биты, шутим».

Потом командуют: «Вольно, разбредись, но недалеко, чтобы мы вас видели, а вы нас слышали».

И, наконец, сочувственно спрашивают: «Вот вы, сэр, на какой машине приехали?» — «Памяти какого-то Михоэлса». — «Поняли, что это значит?» — «Нет». — «Вам повезло: вас не переехали, вы живы». — «Ох». — «Ну а потеряли-то что? что они у вас отжали?» — «Порностудию». — «Ах». — «А у вас, дамочка, что отняли?» — «Вишнёвый сад, который ещё мой прадед...» — «Это какой же вишнёвый? Не госпожи ли Раневской?» — «Его. Я — Раневская». — «Знаем ваш... их сад. Сызмальства в нём на продажу тырили... Вот же изверги. Не плачьте, дамочка».

Местные — люди: волнуются: «И куда вы теперь?» — «Даже не знаю». — «Оставайтесь, Ольга Андревна. Нам скотница нужна. А их сад, если захотите, пожжём напалмом или порубим с оттяжкой: со звуком порванной струны...» — «Скотница?» — «Она же доярка». — «Это у вас тут в Засранске такие шутки?» — «Помилуйте, какие же шутки: надобна». — «Тогда я согласная. Буду работать до пота на простой работе, отложу денежек — и в Париж». — «К любовничку?» — «С руками скотницы?»

На голову г-жи Раневской, Ольги Андреевны, бывшей помещицы, 37 лет, надевают чёрный мешок и галантно, взяв под руку, чтобы скрасить вновь накотившую на неё

истерику, куда-то долго, очень долго ведут, приговаривая: «Снег нынче кудрявый и густой, через сто шажочков мешок из чёрного станет белее снега...» Ольга Андреевна понемногу успокаивается, но шаги считает, замечая петляния и кружения, овраги и возвышенности, день и ночь, завывания вьюги и свист снарядов над головой, пеший ход и тряскую езду на телеге, не отпуская от себя прежнюю тёплую книжную мысль: «Если меня приведут в высокое здание и оставят одну в спальной, я свяжу несколько простыней и, ей-богу, убегу через окно».

«Вот мы и прибыли, Ольга Андреевна. Скидывайте мешок. Сначала экскурсия, потом плотный ужин. К трудам приступите завтра же. В Париж, значит, нацелились?» — «В Париж». — «Кто-нибудь, дайте же барыне резиновые сапоги!»

Хозяйство было абсолютно свинским. «Не свинское, но свиное, Ольга Андреевна». — «Ради бога, простите». — «Ничего, многие путают. Только при хрюшках так не говорите: злопамятны».

«Вон там, — рука экскурсовода провела дугу градусов в сто восемьдесят, — сразу за тем лесом, за этим полем брюквы и за тем яблонным садом начинается фронт. А скотный двор — вот он. Снаряды — в основном перелетают, и хрюшкам это даже нравится, ибо тонизирует. Мясо выходит каким-то задорным. Единственная наша продукция — копчёные свиные рульки, которыми прифронтовой тыл помогает притыловому фронту. Солдаты обожают. Отрывают с руками всё до последней голени. Видите телегу? Полна рулек. Сейчас поскачет».

«А кого же я буду доить? — спросила Ольга Андреевна. — Мне обещали».

«Хрюшек и будете. Молоко маток — лучшие припарки для раненых. Фельдшера в восторге. Надой сдаём подчистую. Видите цистерну? Полна. Сейчас отправится. А свинок поим ультрапастеризованным из сельмага. Желаете проследовать к хрюшкам?» — «Не то слово».

Свиньи с хрустальными колокольчиками были чёрными, как небритые солдатские скулы, лежащие в поле с поздней осени до первых проталин, с голубыми наглыми и умными,

немного удручёнными человеческими глазами. Глаза приказывали ей: сядь на корточки и подыши нами. Она села на корточки и задышала носом часто-часто. Глаза предупредили её: мы побегим на тебя, а ты не бойся, чего тут бояться, мы только посмотрим. Она перестала дышать и бояться. Свины налетели со всех сторон, опрокинули её и стали смотреть, что у неё под бальным платьем, в котором её, не дав переодеться, забрала «Шахматная федерация».

«Мы фронту рульки, а фронт нам пышные корма с тучных фронтовых полей. Помогает — очень, не нарадуемся», — произнёс экскурсовод, и Раневская расхохоталась так, что её пришлось отпаивать. «Роды тоже будете принимать. Опорос у свиной в нашем хозяйстве — это святое», — сказал экскурсовод, и Ольга Андреевна опять ржала до упаду и изнеможения, пока её не окатили колодезной водой.

На ужин был вкусный суп. «Вас теперь за уши от него не оттащишь, — восхитился её аппетитом экскурсовод. — Подают только в день опороса. Это из хвостиков. У наших младенцев их купируют. Матери против, плачут, кусаются, но мы их не слушаем. Вот почему наша рулька — лучшая на этом участке фронта, и не только трудового».

В пять утра, выйдя на смену, Ольга Андреевна задумалась по дороге к свинарнику; вглядываясь в небо, простояла час — и повернула назад. «Товарищ командир, я передумала, — сказала она красивому полковнику, который заведовал скотным двором. — Я, пожалуй, поеду. Не одолжите денег? Я верну телеграфным переводом из Парижа». «Не, рядовая Раневская, — ухмыльнулся полковник, — вы же вчера супчиком объелись. Ужин надо отработать».

С тех пор рядовая Раневская, Ольга Андреевна, бывшая помещица, 37 лет, смеялась без умолку, не переставая ни днём, ни ночью, когда просыпалась, чтобы сгрести кучи отходов, которые утром помешают ей задавать свиньям вкусный корм, так любезно поставляемый фронтом.

Голова у скотницы не болела; никакая опухоль в мозгу, по мнению ветеринара, у неё не росла, — она просто, не зная удержу, посмеивалась и заходила хрустальным смехом, перезванивая колокольцы питомцев и подопечных. Впрочем, свиньям её весёлость не мешала: руки подрагивали, но ведь не били же; ноги подкашивались, чтобы она хохотала, стоя на карачках, но ведь не били же, как ноги других скотников.

Своё первое жалованье Раневская отдала свиньям, которые, завидев её, теперь явственно всхрюкивали слово «Париж», и это немного, но не надолго, снижало градус её смеха.

Второе скормила тоже. И третье. И все прочие отдавала.

Какая забавная подробность: третье жалованье ей выдали вишней из её сада (она узнала её сразу же, даже смеяться перестала). Кто-то новый, собрав последний урожай, вырубил сад, гулко стуча топорами, перекрикивающими невесть откуда взявшийся звук лопнувшей струны.

Свиньи уплели три ведра и попросили добавки.

Смейтесь-смейтесь

Природа смеха неясна, его цели загадочны. Кроме смешливых приматов, на всей плоской зимней Земле хохочут одни мокрицы, когда приматы суют их в рот, надеясь на вкусовое удовольствие; хохочут следом за отсмеявшимися приматами, то есть последними. Звук их смеха таков, что природа — снегопад, вьюга, ледоход и ледостав — замирает ровно на минуту, останавливая бег длинной стрелки, а потом опадает: снег уже не тот, вьюга, смилоствивившись, выпускает на улицу собак, ледоход перестаёт подламывать мосты, а ледостав — портить уснувших рыбаков. Мокрицы, смейтесь чаще.

Будущее человеческое дитя впервые пробует расхохотаться на 22-й неделе. Отыщите в парке на лавочке даму в похожем положении, сложите две ладони в одну трубочку, приложите трубочку к более музыкальному уху, а ухо — к животу дамы. Слышите? Если это гогот — будет мальчик, если хихиканье — быть девочке. Сообщите об этом даме. Обнимите её, если она тяжело задумается. Теперь пощекочите живот дамы и произнесите: «Цыц», — и человек будет смеяться до первой маминой затяжки сигаретой с ментолом. Грядущую маму это обеспокоит («Что вы наделали»), и она захочет лечь на сохранение. Уймите её, показав на висящего на фонаре человека, укравшего из магазина котлету: «Он тоже был чьим-то сыном».

Приматы и хомо с. живо реагируют на смех: многозначительно помалкивают, подхватывают, хватаются за копалки или ножи.

Лучше всего, когда причина смеха не очевидна: побрезговав тремя вёдрами спелой среднерусской вишни, свиньи рассмешат бывшую помещицу-крепостницу, а остальных оставят равнодушными: равнодушные, свернув фунтики из «советского спорта», набьют их вишней и сядут рядом со свиньями, чтобы лакомиться и плевать в раздражённых хрюшек косточками. Бойтесь равнодушных, они лишают вас первосортной рульки; впрочем, это единственный изъян такого смеха.

Если смех понятен и даже популярен, х. сапиенс, поскользнувшийся на входе в колониальную лавку на толстом слое банановой кожуры, обычно ломает руку — и, отплакав своё и проглотив слово «сволочи», залиvisto хохочет вслед за окружающими. В годы военных невзгод такой — коллективный — смех сокращает жизнь с каждым вновь отправившимся на фронт солдатским эшелонем. Поломанный тоже сгинет, но, к счастью для него, последним.

В весёлое мирное время подобный смех возможен, когда повелитель впервые выходит на трибуну без штанов, и публика мнётся: то ли ржать, то ли туманно улыбаться,

опустив глаза долу, и лишь один взрослый, но дитя, не сумев сдержаться, смеётся в голос да ещё подначивает других: «Ну чего вы, это же так смешно». Результат тот же: дни его сочтены. Что, если подумать, тоже смешно.

Смех пронизывает всё хомо-бытие. Смеха не бывает мало или много. Смех не имеет оттенков: он всегда искренен; даже лунный старик смеётся, словно ещё не родившийся зародыш.

За минуту до смерти Христосу официально предложили покаяться и впредь не грешить, чтобы потом отпустить его с миром, на что Христос смеялся тихим и ласковым домашним смехом, будто услышал последнюю шутку умирающего родственника, лежащего на одре болезни. Вслед за распятым Иисусом сквозь слёзы хохотал весь Иерусалим.

Нарушитель, переходящий границу спиной вперёд в парнокопытной обуви, попавшись с поличным, смеётся едва ли не громче пограничников даже тогда, когда те передёргивают затворы и долго и умильно дырявят его. Смех вообще умирает последним.

Заключённый Владимирского централа с неоперабельным раком прямой кишки в терминальной стадии, получив очередной отказ в переводе в больничку, хохочет, словно случайно дефлорировавшая себя бананом непутёвая юная дева: через боль, но заливисто. «А я... ха-ха-ха... напишу снова». И это сотрясает весь острог. «А они... ха-ха-ха... всё равно не переведут и даже не активируют». Хохот усиливается с каждым новым отказом, его слышно уже вне губернии; если удастся, его запишут и передадут по вражескому радио на потеху централу.

Или вот простая голова, просто, да-да, голова, одинокая настоящая живая и говорящая голова, только что вернувшаяся с фронта, которую полевой хирург Пирогов, пирогов хирург, сначала отрезал, потом пришил, отрезал — и к мёртвым юрк, потому что не хватило запчастей, а у мёртвых их хоть ухом ешь, только ничего не подошло, и пришлось, всплакнув, опустить руки и оставить так, как получилось: голову и самую

малость плеч (впрочем, для погон 12-летнего нахимовца места хватило).

Голова дышит, у неё огромные очи, заснув, она храпит, пробудившись, чихает и дует, если одолевают зелёные мухи. На фоне зачуханной маминой халупы голова красива. Иногда, когда никто не смотрит, с её бровей слетает стая сов. Гостям и делегациям голова зычным голосом сообщает, что была богатырём, под метр девяносто, немного, конечно, простым, но всё-таки витязем, и если бы не хирург пирогов, то. На этих словах гости и делегации обычно валяются со стульев.

От смеха.

Изрядно контуженная, но всё ещё лобастая голова старается много и взахлёб читать — и иногда зло, но чаще весело смеяться над прочитанным. Хохочет она и над тем, как красиво устроилась: хоть и контуженная, но ведь голова, а не одно место, то есть с извилинами, а не с помётом, то есть всё схватывает на лету, посему, начитавшись книжек, устроилась водопроводчиком им. Афоня. Захотела — и стала, и отменным водопроводчиком: приносят ей протечку в домовом стояке — чинит, не потя: посмотрит-посмотрит, и точно и исчерпывающе верещит на помощника: «Дурында, тут только ручной дуговой [сваркой]. Марш, ха-ха-ха, за аппаратом, оболтус».

Даже над тем хохочет, что постоянно чувствует запах горелых краповых беретов: «Вот такое, оказывается, вонючее сукно». Смеётся — и вонь отступает, и в комнату, в которой живёт голова, пробивается запах помойки, на которую смотрит окно: «Мам, да закрой же мою форточку».

Но больше всего голова и мама любят смеяться над тем, как, напившись, голова ругмя ругает маму самыми последними военно-полевыми краповыми словами, а потом истово казнится: «А я такой: мама, не могла бы ты пригласить батюшку, чтобы я ему исповедался? А ты такая: ну приглашу я его, и что? в последний раз вы с этим батюшкой наклюкались на брудершафт до положения риз. А я такой: а утром я опять попросил батюшку, но другого. А ты такая: и этот, подлец, не смог отказать ветерану».

Ха-ха-ха.

Кажется, одно всё-таки понятно: смех делает нас счастливыми. Если только вас не чешут за ухом.

Прощёное воскресенье

...В общем, не контузия обстоятельствами, но одно сплошное благоденствие-и-масленица. А коль скоро смех заразителен, то. Они ржут — а мы потихоньку привыкаем и потихоньку же полнимся их ликованием, ибо слюнки летучи и перепадают и нам. Плохо ли, грустные скотники, топчущиеся с томными мыслями подле Ольги Андреевны?

Осознавший себя вымазанным манной кашей, стоящим перед начальником пятками вместе, а носками врозь, с пугливой настойчивостью раз за разом после каждого взрыва ефрейторского хохота спрашивающим у ефрейтора: «Товарищ ефрейтор, разрешите обратиться с вопросом о том, что вы думаете о женщине в лифте», тоже достоин кусочка чужого счастья.

«Отважная, — вдруг подчёркнуто серьёзно отвечает ефрейтор, так и не дождавшись вопроса. — Печаль переполняет меня. Что же будет с ней, такой смелой, в этом жестоком лифте в частности и кровожадном мире в целом... Я ответил? Ты доволен? А теперь я буду бить тебя не по губам, потому что тебе говорить ими завтра и впредь. И эта мысль переполняет меня смехом, а значит — счастьем». И он снова, пиная меня ногой в живот, заразительно смеётся. Что неминуемо передаётся мне, замарашке.

Исцеляющихся тяжелораненых из числа призванных на фронт умственно отсталых недочеловек двести. А фракции

всего две: всего две фракции недочеловек по сто сплотились, загоревшись идеей так, а не этак проводить надвигающуюся масленицу.

«Проститься с масленицей всем дурдомом можно двойко, — сказал я. — Провожая её, можно и нужно сжечь чучело главврача...» — «И ефрейтора». — «Верно, и ефрейтора. Или — можно и нужно устроить главврачу пышные похороны...» — «И ефрейтору». — «Истинно, и ефрейтору. Кто за то, чтобы?»

Фракция, назвавшая себя «Массачусетс», склонилась к оркестру народных инструментов, проникновенно исполняющему песню ВИА «Би Джиз» Massachusetts, пахучим пластмассовым цветам, значкам ГТО и «Донор» на зелёных ватных подушечках, горячим луковым слезам на мордах провожающих и изящному гробу на восьми молодецких плечах, таскающих его по больничке с этажа на этаж, пока смерть не разлучит нас.

Фракция, назвавшая себя «Пахнет душой подростка», напротив, мечтала о прощальном пышном пионерском костре хотя бы с двумя резиновыми шинами и плясками нагишом вокруг огня под оркестр народных инструментов, непередаваемо исполняющий песню ВИА «Нирвана» Smells Like Teen Spirit.

Обе фракции не имели ничего против того, чтобы сгрудиться в одну, объединив процедуры: похороны-прощание с утра до вечера, а костёр-проводы с вечера до полуночи (ибо режим), или же «пусть всё происходит одновременно, ребята».

«А теперь вопросы, ребята», — сказал я ребятам.

«Обязательно ли класть в один изящный гроб и главврача, и товарища ефрейтора?» — спросил копатель окопов Адик. — «Можно и в разные...» — «...если оба гроба — загляденье». — «Само собой, чувак, само собой...»

«Как лучше творить чучела главврача и товарища ефрейтора: с натуры или с фотографии?» — спросил майор-олигофрен Серёня.

«Ложечников любите? Мы тут уже двадцать пять лет, и каждый вечер виртуозно играем на ложках. Только ноты

дайте...» — преисполнился музыкальным сопровождением проводов десантник с позывным Матросов.

«Плотники-столяры есть? Плотники-столяры, отзовитесь. Гробы — не для любителей», — взговорил лётчик с позывным Гастелло. — «Да мы тут все и плотники, и даже краснодеревщики. Такие гробы сбацаем».

«Чучела из соломы делать, товарищ лектор?» — поинтересовался драгун Будённых. «Где ты солому видел? Из одеял, конечно, — ответил ему драгун Чапаин. — И из задних спинок наших кроваток. А отмахиваться лучше коктейлями им. председателя Совета народных комиссаров».

«А можно записать меня в плакальщицы?» — попросил снайпер Абдулдыбеков.

«А как встречать-то её будем?» — «В масленичных трудах и уколах».

И закипела работа.

«And the lights all went out in Massachusetts», — затягивала шёпотом поп-фракция «Массачусетс» в сопровождении пианиссимо-ложечников. «With the lights out, it's less dangerous», — тс-с-с-шепотком откликнулась фракция «Пахнет душой подростка» под пиано-аккомпанемент рок-ложкарей.

Тайно работающие в темноте умственно отсталые инвалиды фронта, которых каждый день колют галоперидолом, похожи на вещи, которые они мастерят на ощупь, а всё вместе — контуженные дебилы, похожие на вещи, и выходящие из-под их увлечённых рук сами вещи, — похоже на преждевременные поминки подле гробов, которые забыли предать земле, подумал я. Чучела, две штуки, и гробы, пара, но вместительных, да с запасом, собирались из кучи заныканных дневных вещей; зажигая спички, на них любовалась въедливая приёмная комиссия, указывающая на недостатки; затем произведения искусства и изделие исправлялись и разбирались до возможной приёмки следующей слепой ночью. Накануне масленицы комиссия взялась было аплодировать, но осеклась и лишь расцеловала скульпторов чучел и гробовых мастеров в

губы: «Спасибо, спасибо, спасибо за такое подлинное из одеял и такое струганое перочинными ножами осиновое, но весьма краснодерёвое». Ребята млели и текли жёлтыми кошачьими глазами.

Масленица, настав, пронеслась неуловимо, буднями, ибо вместо блинов была обычная манная каша на воде, а шампанское изображали уколы в плохо отыскиваемые, избиваемые дублёными санитарными пальцами вены. Не положена масленица в лечебно-исправительном. Мы дошло вякали о праздничных катаниях на санях не то что вместо сна — обеда, о разгуляе и золовкиных посиделках, а на нас смотрели, как на выздоровевших: с непередаваемой безразличной злобой, и, бия нас в пах, через губу грозились выписать завтра же напрямиком на любой фронт по выбору бака стиральной машины.

Другое дело проводы. Тут уж мы сами. Сами расставили капканы и сами плясали вокруг попавшейся в них богатой дичи.

Мы даже мух отловили, чтобы ничто не нарушало тишину дурдома прощёным утром. Ефрейтор сиял: до чего же гробовая. Ефрейтор ходил на цирлах. Ефрейтор жеманно шептал слова «подъём» и «мальчики». Наконец, ефрейтор просунул голову в одну из палат.

Самый смелый из нас, смершевец Абакумский вкатил ему купленный у медсестры галоперидол, и ефрейтор впал в марианскую апатию.

Приехавший к обеду главврач был куплен мелькнувшими на лестнице милыми голыми бёдрами самого женственного из нас, Серёниного денщика Тихонова.

С кубиками не зверствовали, сойдясь накануне стенка на стенку: фракция «Массачусетс» настаивала на смертельной дозе, «потому как лежать будут во гробе»; а «Пахнет душой подростка» умоляла: «Ограничимся же, ребята, нашими кубиками, потому что мы если и убийцы, то не тут, не в своём

дому». И сказал я: «Быть нашим кубикам. Быть посему». И порешили на том.

Главврача и ефрейтора затиснули в изящный гроб валетом; валетом же положили в гроб победнее их чучела.

Впереди процессии шли ложечники, играющие Massachusetts. За ними парадным шагом несли гроб с уколотыми главврачом и ефрейтором восемь молодецких плеч из одноимённой фракции в сопровождении пахучих пластмассовых цветов, значков ГТО и «Донор» на зелёных ватных подушечках и горючих луковых слёз на мордах. Следом, показывая друг другу и санитарам срамные части израненных умственно отсталых тел, скакали, приплясывая и кривляясь, ребята из фракции «Пахнет душой подростка», которые несли домовину с высокохудожественными чучелами. Едва успевающие за ними ложкири наяривали «Нирвану». Замыкали процессию плакальщики.

«Кто помер-то?» — спрашивали санитары пяти наземных и двух подвальных этажей. «Господин главный врач и товарищ ефрейтор. Такое несчастье», — взывали плакальщики. «Давно пора», — веско замечали санитары, сморкались двумя пальцами, пристраивались к процессии и подпевали кто «Би Джизу», кто «Нирване»: «Я всегда буду помнить Массачусетс... Привет, привет, привет, чего такая кислая?..»

Четыре — не два — все четыре колеса и запаска из машины главврача превратили костёр в незабываемый. Тушили двумястами жёлтыми струями, стараясь успеть к полуночи. Санитаров попросили не встревать. Успели. Кострище завалили сугробом.

Бережно перенесли главврача под бок к главсанитарке, у которой сначала купили недельный запас галоперидола. Конечно же, ободрала.

Товарища ефрейтора оставили как собаку на улице. «Да чё с ним будет-то...»

«Завтра по-старому?» — «По-старому. Неужели нам тут плохо?»

«Удалась масленица». — «Повторим в следующую?»

«А то». — «И опять простим их?»

«Люди всегда прощают нелюдей».

Картофель

С мест сообщают, что сквозь выпавших с неба со снегом и криком «милая мамочка» дирижабельных детей прорастает редкостный картофель, идеал пионеров.

Жареный даже на маргарине, он будто бы не стряпня, но мамино лакомство: уплетя со сверчковым треском за вялыми ушами половину сковородки, а вторую половину уложив на опрятные параллелепипеды чёрного хлеба, которые поддержат днём в минуты страха, едоки, уши которых уже торчком, кланяются уродившемуся вне огорода растению, а потом целый день поскуливают в самых неожиданных местах и ситуациях: вместо громогласного объявления остановки «Зюзино» с помощью магнитофонной ленты, машинист затягивает в микрофон жалобную песню «По приютам я с детства скитался» (муз. С. Слонимского, сл. народа); палач, всхлипывая о потерянной когда-то 10-копеечной монетке, смазывает верёвку сладостным мылом «Душистое» и просит казнимого не смотреть на него с укором во все глаза, только украдкой, «потому что слёзы: вот, понимаешь, навернулись»; Тамара в «Пяти вечерах» (авт. А. М. Володин), забыв свой текст абсолютно, весь спектакль хватается за гитару и вместо реплик и монологов поёт на разные лады: «Миленький ты мой, / возьми меня с собой. / Там, в краю далеком, / буду тебе женой»; пошедший в штыковую боец бросает винтовку, становится на колени и ласково заговаривает бог весть о чём: «Тут письмо, во внутреннем кармане, заberi его себе, а потом коли. Брат враг, дай твёрдое слово, что отпавишь»;

взяв старушку за ноги и вытряхнув её, гопник неожиданно ploшаet, поднимает выпавшую мелочь и таблетки и отдаёт их жертве, прося объяснить ему, «что такое совесть, бабка»...

Жареный на нечищеном подсолнечном масле или добром сале, картофель, взошедший через мальчиков и девочек с неба, побуждает сдержанно пить водку, петь печальные песни под гармошку и, одевшись в костюмы ряженных, переламывать реки, текущие на работу: дама в бикини, мужичок в полной выкладке хоккейного вратаря, трудные подростки в костюмчиках Тильтиля и Митиль умоляют конструкторов, продавщиц мороженого и собаководов хотя бы сегодня положить на работу с прибором: «А давайте с нами, наши хорошие. Вы же смелые, наши хорошие, разве нет? Картошечки на всех хватит. Деток уж нет, но как до сих пор окрыляют».

Или вот ещё: картофель, проросший сквозь мальчиков, жарят на топлёном масле с вёшенками, проросшими через девочек; объединение подаётся на чугунной сковородке, затейливо украшенной луговой геранью, марьянником и пастушьей сумкой, которые вытянулись рядом с небесными детьми: между их широко расставленными ножками и вытянутыми, словно орган летания, руками. Пробовавшие это блюдо быстро теряют густой волосяной покров на узком лбу и между жилистыми пальцами, пустые головы с чужими кудряшками и деланной блондинистостью, повадки сволочей и просто нелюдей, табельные инструменты убийства, берцы, неприязнь к (у каждого, увы, свой идиотский список с бездной грамматических ошибок), спесь, русскую быдлоречь, в общем, излечиваются от рака равнодушия и своей бессмысленности и начинают... заговариваться? — если бы [я записал это 29 февраля за одним человечком, который вдруг сорвался в лес (!), где застыл женой Лота перед дальним лесным озером (!!)]: «Холст озера, и толчая следов в кустарниковой раме, но не глубже; и отзвук бубна дятла (хохлит уши, в них забираясь из лесных тылов); и шёпот хлопьев (пышных тянет вниз с полуночи), — всё это признак верный того, что небо завершит каверной вот-вот свой снежный пыл, а не на бис, — и утицы,

оставившие лёд, хрусталь под полотном, во имя булок и лужи городской, и *царь прогулок* по кипенному, чёрный, самолёт, мой терпеливый пёс, и *рыбаки* без пепельниц, дымящие в засаде, и *рыба*, обожающая ради блесны очнуться ото сна, цинги (хотя при чём тут ветренный карась? он по изнанке, он по обороту толпиться будет, чтобы обормоту без пепельницы измотать, ершась, кусок латуни), — все они тотчас набросятся на чистый холст с ногами, накинута пятнать, следить кругами с пи-эр-квадратом. Если б не завяз, не утонул, нырнув, ещё вчера, до снегопада, человек, который из проруби, как ученик матёрый, вытягивает руку на-гора, писал бы тоже это полотно, приплясывая, выскочив наружу, прикрикивая: «Господи! Я душу продам за то, как запорошено». Увы». Ну какой же это бред... Бред, и тяжёлый, и угрожающий, — это ваш ор на родное пятилетнее дитя на всю заткнувшую уши ул. Ивановскую: «*ПТТВОЮМАТЬ, ПОЛИНА! Я ЖЕ, *ЛЯ, ЧТО ТЕБЕ, СУКА, ГОВОРИЛА». Я описываемой картошечки не вкушал (и никогда не буду; объяснить, почему?), поэтому волен гневаться: только за глагол «говорила» лишил бы языка; а уж за все остальные изыски... Я злой, знаю; но и быдлу место только в зоопарке; но я и добрый тоже: в зоопарке со своим стадом.

Как этот впечатляющий в жарке картофель попал под деток, падавших с неба над половиной Третьей губернии? Бог весть. Говорят, им были полны их карманы и пазухи; говорят, его, перестраховываясь, выдали в качестве балласта: камни будто бы кончились, а картофель, гм, остроумно начался.

Говорят также, что в карманах вспорхнувших и, разумеется, павших (ибо ничто не летает на этом плоском шаре; особенно то, что сбито с небесной тверди) мальчиков были россыпи стеклянных шариков, из которых они строили яйцевидные небесные тела, чтобы обменивать их на ещё более крамольное: долгий ночной взгляд в трубу с линзами. Стеклянные шарики, увы, не растут, а как хотелось бы.

Наконец, говорят, что у многих небесных девочек были куклы: дети показывали машам и катям милитари-диораму «Полёт снаряда» (удивительно, но снаряды — летают), а что-то

вообразившие куклы, перепугавшись, рвали на себе волосы до пластмассовых плешей и рыдали так, словно начитались «Крейцеровой сонаты» одного старинного писателя. Куклы, кстати, тоже не зацвели.

И: сообщают, что урожайность картофеля, порвавшего так и не убранную детскую плоть на лозунги родины к 23 февраля, могла бы составить 298 центнеров с гектара, — когда бы поля Третьей губернии оттаяли и были унавожены упавшими по самое небалуйся.

Вот в это верю безоговорочно.

Иван Бодхидхармов для «Новостей Брайля», газетки для слепых, которые верят в прозрение.

Выйти из дому

Он им, конечно, платил, платил и нудно выговаривал не меньше трёх раз, пытаясь поколебать их решимость (а то и некоторую глуповатую доблесть): я, дескать, заплачу, но совесть мне этим не купить; вас, наверное, прихлопнет, да нет, вас прихлопнет точно, и мне потом с этим мучительно жить в адском стыду; вы же, милый мой, не первый — вы, между прочим, пятый, а результат всегда только один; а это значит, мне страдать, мнѐ, и страдать мне пятикратно; не представляю, как я смогу.

Нет-нет, это не цирковая реприза, он не рыжий, детей, которые могли бы, услышав это, вскакивать и бить до синяков в ладошки, тут не было, — был напутствуемый наёмник, он же доброволец, и был нотариус зверски серьёзного, если не похоронного, вида, который кивал в нужных местах то ли, гм, отсовета, то ли отцовского благопожелания («осторожнее там; поглядывайте там; нет, милый мой, военная каска не поможет, не надейтесь»), разводил руками, щёлкал каблуками и пышно сморкался в бесконечный красный с блёстками

платок, чьё лежбище было в правом брючном кармане: нотариус тащил его, тот упирался, потом сдавался и минуты три, пока у гипотетических детей были открыты восхищённые рты, тянулся к красному носу, но весь так и не показывался.

Как с вызвавшимися расплачивались? — рукописями, беловиками: Бодхидхармов, корреспондент «Новостей Брайля», передавал смельчакам свои поэзы, подписывался под «...передаю стихотворение “Название стихотворения” в полное и неотъемлемое владение имяреку, который волен опубликовать его под своим именем», нотариус удостоверял, стороны обнимались, уже в дверях Бодхидхармов наливал и хлебосольничал, волонтер (или всё-таки наёмник?) накапывал, кусал хлеб-соль, выслушав проникновенное «с богом» в исполнении приглашённого попа, — и был таков.

О результате то ли нечеловеческой жестокости, то ли сурового эксперимента (со стороны Бодхидхармова), то ли волонтерского ухарства узнавали из типового воя по всем каналам «Телерадио Брайля»: «Ещё один, выйдя из того же подъезда дома по улице Название улицы, был...» Что же, ещё один стишок никто никогда не прочтёт.

Объявление «Хочу выйти из дому» сорвало аплодисменты: звонили без продыху. Многие отшились, ибо, как втолковывал им Бодхидхармов, «требуются мужчины моего роста и телосложения»; многие, узнав о риске, не перезванивали; многие хотели попробовать, но «не за стишки же; у вас куриные яйца есть? сойдут и варёные; нету? тогда и меня нету»; многие принципиально не носили под ушанками строительные каски; многих не устроило то, как он одевается: «Валенки? кроличья шуба? вы серьёзно?!»; многие записались, но очередь могла бы протянуться до 2301-го, если бы «выход из дому» был через день. А он — пока набиралась статистика — был каждый день.

Первый в очереди, уже покинувший эту юдоль, пришёл в своей шубе, за что попросил второе стихотворение, и он его получил. Шуба была близнецом шубы Бодхидхармова, но всё же не до конца — коль скоро человек перебрался в иной (надеемся, лучший) мир.

Второй, вероятно, не проникся инструкциями: он не был естествен, он таился, он припадал, он даже пытался переползать, чего Бодхидхармов никогда не делал — и не будет делать, даже под Главным Страхом. Жалко недотёпу, жалко неплохое стихотворение (как раз про каску: «...мире русской плоти и оплоте: / в перикарде пса живёт заточка, / стукачок ещё живой, и «врёте», — / кланчат его губы проволо́чку, / а снегурке любопытно, скоро ль / этот цирк закончится, и Гоголь...» Хорошо, правда?).

Третий и четвёртый (шубы, в отличие от валенок, ещё не кончались, но всё равно: какой расход, согласитесь) — и в этом был смысл, гм, эксперимента, — ничем не отличаясь от Бодхидхармова, одновременно вышли из подъезда и, характерно косолапя, отправились в разные стороны... Увы. У-вы. Нет теперь с нами ни того, что слился с толпой, втягиваемой метро, ни другого, что чуть наигранно поспешил к трамваю. Царствие им, смелым дуракам, Небесное.

И вот теперь — пятый за четвёртый день бесплодных пока попыток покинуть дом — и выжить. Кандидат — лучший: прошерстил рукописи и сам выбрал расплатный стишок; рост, вес, фигура, черты лица — плюс-минус Ваня, только моложе (ничего, наложим грим); такой же придурочный: пристаёт к ментам: «Как там ваш? Почему он ещё не во гробе?» (обычный дебильный вопрос) и цепляется к продавщицам мороженого: «Если куплю шесть, седьмое бесплатно?»; косолапит неотличимо; собачник (решили, что выйдет с собакой). Обговорили всё; приготовились — заранее, позвонив в редакцию: «Да, да, приеду за жалованьем, завтра, к десяти, буду как штык», все, кто хотел, слышали отчётливо. Все положенные слова (ментам, мороженщице) запомнил до отбарабанивания. «Газету на стенде пробежишь за три минуты и, оглядевшись, нарисуешь фюреру усы». — «Есть нарисовать». — «Чем нарисуешь?» — «Химическим карандашом». — «Как посмотришь на того, кто покачает головой?» — «Свирепо». — «Как зовут пса?» — «Дусик. На коротком поводке. Справа. Собака не удовольствие, но проводник. В трамвай — в

наморднике. На протестующих — покрикивать». — «Как покрикивать?» — «Опережающе». — «И каска: чтобы ни на чуть не выглядывала». — «Треух большой, ему по силам». Хороший парень, этот пятый.

Пятый торжествующе вышел из дому, ибо Бодхидхармов выходил не часто, а когда выходил — торжествовал: припевал Моцарта, шёл вприпрыжку, играл с детьми в снежки, часто останавливался и подолгу смотрел в небо, всплёскивая руками, кормил белой булкой встречных собак, говоря своей: «Смотри, Дусик, какие они непутёвые и голодные, даже на булку кидаются».

Бодхидхармов тайно следил в бинокль «Хаппл» за пятым и тут же созванивался с болельщиками: «Намного дальше предыдущих, намного... Умудрился добраться до газетного стенда. Сейчас рисует усы». — «Может, не стоило усы-то?» — «Но я всегда их рисую... Треплется с мороженщицей... Читаю по её губам: “Что-то вас давно не было”... Идеальный парень, идеальный... А вот это он зря: купил шесть эскимо и теперь уплетает одно за другим. Я покупаю три, про шесть — это же шутка, олух... Олух зачем-то опять вглядывается в небо. Что-то услышал? что-то увидел?... Чёрт! Дусик что-то почувствовал: сорвался с поводка, несётся домой...»

Кирпич тоже сорвался, и так удачно, что угодил пятому прямо в лицо, где от каски, пусть и под треухом, никакого проку.

Зимние йоги, кто они?

Задумавшись — зависаешь: ноги турецкие, крестиком, под тобой метр чистого воздуха, и это высота, ибо синица в форточке, думающая, впорхнуть ли ей в комнату за семечками на столе, или голодать, но не сглупить, скребёт высокой

нотой сквозняк, а тот отзывается зелёным бутылочным осколком, по которому чиркают перочинным ножом. И ты, почувствовавшись, обрушиваешься и накрепко отбиваешь мягкое. Высота-высота. У высотного творения есть лонжа — крылышки, у тебя же против высоты-высоты одна куцая задумчивость, помогающая взлёту, но не мешающая падению.

Без крыл я, подруга, и тяжёл по-прежнему, как мешок с сомнительными новогодними подарками, принесённый похмельным отцом. Зачем ты меня всполошила? как мне теперь пить на весенней лавочке летнее красное? стоя на ней? — Не смешно; что скажут дети в колясках...

Вопрос простой, но с *подвохом*: зимние йоги, кто они? То есть: что взвивает зимнего человека — кроме его бестрепетной отрешённости? Залапанное явление «весна» (лоб, губы, обе щеки, оба плеча и все четыре кованых гвоздя зализаны до звёздного блеска, — а всё равно забирает и задирает; главное — не замечать её совершенства, уклоняться, наивно хитрить: ну пришла, и пришла, чего такого; сколько ещё раз придёт... может, и нисколько, но ведь так предсказуема, так обожаема всеми, даже, наверное, крысами в масках оберштурмбаннфюреров и оберштурмбаннфюрерами в масках человека-среди-людей). Дама и дева в электричке: одна со вдруг голой до плеча правой рукой, другая — с удивительно обнажённой левой, а также с подолом, взволнованным ветерком, гуляющим по проходу. Разлив зелёной послезимней воды по лесу, которая, попав в хвойные ямки, делается ржавой, но такого благородного тона, что хочется таскать с собой акварельные краски, чтобы мазюкать ими на сугробах этюдики...

Пошептавшись на ухо, мужья сговариваются и выбрасывают тебя из электрички на чужой остановке за проникновенные взгляды и мажут глаза чёрной землёй, которая проросла лишь этим утром, а ты не ругаешься и сияешь. Лучше бы я пил и курил в вагоне, полном неопытных женщин и ушлых детей? Не уверен. Земля пробилась, и это и есть тот самый первый день этого времени года, которым ты... восхищаешься? — именно, потому что, как сумасшедший инвалид на заработках, поёшь

в голос всякие песни, которые в детстве слышал по радио. Не знал, что знаю их... Эй, неужели ни у кого нет расчёски и кусочка бумаги, чтобы подыграть певцу? Ну, как знаете. И тут кто-то в голове состава кричит: «Осторожно, двери», и они выбрасывают тебя. А ведь я даже не завис.

Не завис и думал не только о руке, руке с локотком, неожиданно острой коленке, проклюнувшейся чёрной земле, но и о чуждом: что если взять и срубить сегодня в глухом лесу старую, доживающую своё ёлку и поставить её дома?.. В коробке с возмутительной надписью «Канцеляр.», где лежат тот самый перочинный и то самое бутылочное стёклышко со сглаженными временем краями, есть несколько запорошенных белой глазурью карминовых шаров, доживающих свой век в аккуратных газетных обрывках, из которых следует, что некая Алла Йо 2 января дёт на передачу и спо с лей, Хрюшей и Степашкой песню «В лесу роди. Древнегреческие шары и insultная ёлка подойдут друг другу, а вместе они подойдут этому дню. Завтра, конечно, отпустит и затянет всё и всех тонким серым целлофаном, сквозь который едва пробивается, но даёт дышать, воздух, но это будет завтра...

Юные лыжники и лыжницы, пробежав свои ежедневные стокэмэ, говорят: «Надо же. Он. Ещё. Стоит. В. Той. Же. Позе. Что. И. Восемь. Часов. Назад. Дядя, милый! Вам помочь сойти с этого места?» — «А? Что?..»

Раньше я только окаменевал, а теперь стал зависать (ещё и). Дорогой стоматолог в небе, что со мной? Я стал невесомей? стал бумажным самолётиком? (наконец-то) стал собой? Прежде чем открывать кариесную пасть — подчеркни правильное, отвечают с неба. Дайте подумать, не впадая в отрешённость... Невесомее... стал, точно, стал: вместо «я, я, я», теперь мне приятнее выговаривается такое: «тот самый день весны, в который не думаешь о себе вовсе»; что такое я рядом с этим днём? — что-то незначительное.

Небрежно переломить меня на четыре прямоугольника и положить в карман серого школьного пиджака, чтобы, оглядываясь, удалиться на опушку, где потоки воздуха

Зимние йоги, кто они?

затейливы до восторга, — и, снова расправив меня, свернуть, но уже по-настоящему, с острым носом, широкими крыльями и длинным сорочьим хвостом (на случай резкого порыва и падения колом), можно было всегда. Тоже подчёркиваю.

И собой стал, конечно: седина в голову, КОНЕЦ ФИЛЬМА в ребро: для чего таиться, если ОН близок? пора уже, самое время. Подчеркнул.

А конфеты не надо бы. Я знаю. Но мама баловала, и я никак не отвыкну. Впрочем, скоро КОНЕЦ ФИЛЬМА, и...

Когда ты окаменеваешь, что делает тебя бесчувственным фонарным столбом без фонаря, кроме твоей боязливой отрешённости? — Зима. Зима во всех её проявлениях. Зима. Зи-ма.

О чём думается, когда окаменеваешь? — Ни о чём. Ни о чём, а губы складываются в грубость «шваль». Когда отпускает, никак не можешь побороть их: суешь под горячую воду, трёшь мыльной мочалкой, мажешь горчицей, а «шваль» не сдаётся.

А когда зависаешь (после, извини, окаменевания... такое возможно? такое вообще бывает?), о чём думается? — Ни о чём, кроме стихов, но они не думаются — они просто выговариваются (наверное, в отместку за каменный ужас):

*На обратной дороге обычно встречаются звери,
звери наледи, это весьма цирковые медведи,
обнимают, костей не ломая, и при револьвере
без любви покрывают, и крытому видятся двери,
за которыми детям медведи наташи и феди,
улыбаясь, из Шишкина что-то творят, буква «веди»,*

*пятый «В», восторгается, вся, шапито это, лето
послезавтра на море, приправленном солью и Аней;
и стрельба бесполезна: и наледи честь не задета,
и патронов убудет, и горлом пробитым мотета
не певать на маршруте, и виды вернуться жеманней
и глупее неволи прилечь, и медвежьих кусаний —*

*ибо камень и камень, откуда на голом льду камни? —
мало для прокормленья, и тушей всей, тёплой шкурой
отогреть меня надо сначала, и нежные ткани
сохранят малышей этой тонны, покуда долганы
не съедят их на завтрак с яичком пашот. У фигуры
твёрже камня на льду есть значение: стол белой дуры.*

Хорошая моя! Да не толкай же ты зависшего меня, надеясь, гм, отодвинуть с найденной домашней тропинки, от плиты или двери; даже не думай загнать меня по воздуху в дальний тёмный угол. Не толкай — упаду. Неужели забыла?.. Не трогай зимнего йога, потерпи, позволь ему самому очнуться и расправить ноги, ладно?

Ах да, о *подвохе*: если вы, читая это, не приплясываете и крутите пальцем у виска, вы — лично вы; как вас там? — никогда не зависните.

Они — не вы.

Но вы и не упадёте, отбив своё роскошное мягкое место, за которое я, будь вы..., ей-богу, подержался бы.

И знаете что? — мне вас даже жалко.

Не коварство, а любовь

Будем деликатны, назовём его постовым, тем более что слово с лихвой перекрывает все смыслы его трудов: он охраняет тело Обера (не он один, постовых миллионы, но все они одинаковы, как близнецы из одного яйца, тут даже натяжки не нужны, поэтому и говорим об одном, ибо он и есть все); не лает, поскольку владеет речью, но, видя нечто не вписанное в его раз и навсегда устаканенную картину мира (вряд ли лоботомия при приёме... но — чем сатана не шутит), вскидывает и передёргивает (на воздухе), или достаёт и целится (в помещении), в обоих случаях звонко и

членораздельно (бывает, что и по слогам) сообщая во время выстрела количество патронов в магазине и скорострельность находящейся в руках машинки; рычать не обязан, но для пущего впечатления на приближающееся замысловатое можно, хотя в Уставе-и-Положении о рыке ни одного абзаца; будка для зимнего воздуха и нарисованный мелом на паркете квадрат для комнатной службы вынь-да-положены, всё остальное — отопительный прибор или подпорка для седалища — послабления и привилегии за бравый вид, гренадёрский рост, выслугу десятилетий и количество выбитых Обером зубов (хотя это скорее пассаж и оказия, чем правило; объяснимся: в помещении вокруг постового всё расчерчено: вот меловой круг, за который нельзя выходить ему; вот меловой круг, который нельзя пересекать самому Оберу; вот меловые коридоры, по которым, сверкая белками, носятся конвоиры постового и Обера. То же самое на зимнем воздухе, но там всё зафлажено, а не расчерчено. То есть Оберу нельзя вдруг подбежать к постовому и дать ему в зубы, потому что постового может переключить, и он может.. не может, но вдруг?.. ответить. Но непослушание Обера случается, отсюда и зубы, отсюда и послабления. В известном смысле и постовой, и Обер сидят на цепи: постовой — на цепи Устава и Положения о постовой службе, то есть на цепи из букв, хотя, конечно, случаются и настоящие цепи — когда постовой склонен к необъяснимому служебному рвению, а Обер — на цепи длинных и колких языков челяди, которая, случись ему рвануться к постовому, чтобы голыми руками вырвать ему передний заячий зуб, который Оберу сразу не понравился, будет хором шикать и уговаривать, а потом и вовсе стыдить, угрожая разборкой известного беломраморного изречения, висящего над каждым холопом: «Сам сдохну, но тебя, падла, по-любому заточкой достану». «У Геббельса, — пугает челядь, — есть и поискристее жемчужины. На них и заменим». Бывает и так: «Голос, — кричит Обер, проходя в своей зоне метрах в ста мимо постового, — подай голос, сволочь». Постовой молчит, ведь не положено. А Обер настаивает. Постовой опять молчит, потому что Устав и конвойные в своём коридоре палец к

губам прикладывают. И Обер осатаневает: манкируя всеми границами и флажками подходит угрожающим печатным шагом и плюёт постовому в любящее лицо. Постовой утирается и торжественно произносит: «Спасибо», так в Уставе... Но чего только не бывает: Обер вдруг подскакивает вприпрыжку к постовому сзади, дружески бьёт его правой рукой по правому уху, а сам возникает слева. Постовой полон смущения, Обер хохочет. Хохочет, но спрашивает не без подвоха: «А если меня надо прикрыть чьим-то телом, а тело рядом только одно: твоё. Что ты на это скажешь, любезный сторожевой?» И постовой зачитывает по памяти Устав-и-Положение: мол, для этого есть специальные люди без цепи и ошейника, вон они, конвойные». И Обер как с цепи срывается: «Я же сказал, сволочь, какая же ты сволочь, что никого подле, только ты, сволочь, какая же ты сволочь, рядом со мной. А теперь возлай, чтобы я не устыдился сделать это». И второй раз за день плюёт постовому в восхищённое лицо); словом, если кто-то или что-то неведомое прокрадывается к Оберу, постовой стреляет тому в лоб, и ничего ему за это не будет, кроме медали; вот что такое охрана Первого Тела, понимаете теперь?

Кроме того, политично назовём постового простым (безотносительно к предположительной обязательной лоботомии, после того как кандидат в постовые отвечает хотя бы на один вопрос из 666-вопросного листа правильно, или честно, или правильно и честно): если постовому подсовывают уравнение $x - 4 = 1$, он решает его, не замечая, количество сжёванных простых карандашей, а их несколько, пять; услышав от жены, что она уходит к другому, он тащит её за волосы в ванну, где душит до потери сознания, чтобы щадяще сломать ей ноги, которыми она собралась идти к другому, — теперь не уйдёт; когда жена, срастив ноги, а значит опять начав дурить, шепчет ему в постели в минуту страсти: «Дорогой, давно хотела признаться: я не просто твоя жёнка, но жёнка, приставленная к тебе от твоей службы; когда вас принимают на работу — нас разыгрывают в лототроне, чтобы мы втёрлись к вам в любовь и женили на себе, ибо так сказано в секретной части Устава, которую тебе не показывают... Но я не совсем

такая...», и он, простите за подробность, ссаживает её с себя, ладонью бьёт её по губам и говорит: «Не может быть, дура, что ты такое говоришь, у нас же такая любовь...», а она отвечает: «Была, да вся вышла. Ну какая, дорогой, любовь к человеку, которого я даже не уважаю, а? Вчера ты опять пришёл без передних зубов, а позавчера весь в слюне Обера, которую не будешь смывать семь дней, чтобы все видели и завидовали, а я облизывала, чтобы проникнуться. А мне не нравится его слюна: она липкая и со вкусом собачьего добра...», тут он, всплёскивая руками, говорит: «Как ты можешь говорить такое об Обере, неразумная женщина...», а она ему: «Могу, потому что люблю тебя, а не того, кто плюёт тебе в твоё мужественное лицо и выбивает твои передние заячьи зубы. А вот любишь ли ты меня — это, дорогой, большой вопрос...», и он клянётся ей, что ужасно любит, и умоляет её не делать глупости, «не разлюбливать» его, а она его подначивает сначала в шутку: «А докажи, что любишь, чтобы я не разлюбила», а потом всерьёз: «Если ударишь Штурмбанна пепельницей в висок — поверю, что любишь, и сама перестану разлюбливать. Ударь пепельницей, — и докажешь. В висок, — и я останусь с тобой, дорогой», и он, видя, что дело серьёзное, что она ради их общей любви готова на всё, спрашивает: «А почему пепельницей-то?», а она доходчиво объясняет: «Потому что, дорогой, она тяжёлая, в форме лодочки и прекрасно ляжет в твою тяжёлую и внушительную руку. В висок, — и мы будем счастливы, как когда-то, когда меня приставили к тебе, согласно судьбе и воле лототрона, а я, дурочка, взяла и влюбилась в тебя, плюя на Устав-и-Положение...», и он, тоже уже готовый на всё, но всё ещё не верящий, спрашивает её в отчаянии последней надежды: «А не коварство ли это с твоей, дорогая, стороны?», на что получает исчерпывающее нет: «Ни в коем случае, дорогой. Это — любовь». После чего простой постовой делает шесть невозможных прежде вещей, за которые ещё вчера мог бы убить, не задумываясь, даже себя, ибо заточен и таковы вещи: 1) приносит на пост посторонний предмет: пепельницу, лодочкой, тяжёлую; 2) когда Обер появляется в своём меловом круге, переходит

границу своего круга; 3) потом минует коридор конвойных, движущихся справа налево, чтобы следить за постовым; 4) в прыжке по воздуху пересекает коридор конвойных, рыскающих слева направо и присматривающих за Обером; 5) не обращая внимания на крики конвойных: «На место. Фу. Посажу на цепь», на карачках подбирается вплотную к Оберу и обнимает его высокие лаковые сапоги 40-го размера; 6) выполнив команду Обера «смирно», встаёт и бьёт Штурмбанна в висок пепельницей, которая пряталась в его лопатной ладони.

Боко харам

Высморкался в кулак, вытер о плечо и грудь встречной гражданки, а когда та, перестав улыбаться, нахмурилась, задумалась о нехорошем и дурно о нём, развернулся, догнал её и дал ей пинка, произнеся: «Нежно, не по копчику и не пыром. Хорошая ткань. Это что, шевиот? Умеют же нгличане. А юбка из чего?», и пошёл дальше, крикнув гражданке и всем вообще: «Лыбся. Не будешь — опять нагоню, но уже пыром». Потом вспомнил что-то, крикнул: «Стой. Я сейчас», крикнул людскому облаку справа: «Денег дайте-ка. Нет, пачку», церемонной походкой подгрёб к гражданке, которая, замерев на его «стой», так и не смогла обернуться, и отдал ей пачку: «Не бижайся, зла не держи. Я — хороший».

Куда же он пёрся-то... А, да.

Вечер нудный, но будет хохотно: волкодав; волкодава в начальники, граждане холопы; явление волкодава в струменте сласти; ответы волкодава на острые вопросы; обсуждение достоинств волкодава; открытое голосование; быть или не быть волкодаву во главе р-р-родины; осмелятся ли возвысить голос на волкодава; вечерний салют изо всех орудий Ленгор.

Всей дминистрацией целый день прошибали друг другу головы, кого же, ну кого же вместо-то, а? Забавную анаграмму «кунгуру», найденную на 5-тысячной монетке, однажды эмитированной банком родины? если сожительницу, то какую из них? набухший мартом сугроб? боко харам? грудь гражданки из г. Вятки, проигранного в «очко» Уралмашу, на которую укажут литейщики? или токаря? Кому из этих пяти по зубам наши бараны?..

«Волкодаву». Это была вторая его речь за парудней. Вчера он, скатавшись к телебашне на танке, провозгласил: «Ухайдакался, сваливаю», а нынче возгласил: «Волкодаву» (стенографистка подумала: «Брякнул», а потом подумала: «Нет, возгласил» и побежала докладывать). Значит — волкодаву. Решено.

Волкодава искали с обеда всей родиной на лучших зонах: с самыми высокими заборами и опулемёченными вышками, с самыми зверскими населенцами и краснопогонниками, с самой густой тайгой до арктического горизонта и китайского окоёма. Подходящих нашли нескольких. Распорядились: «Эрофлотом, мухой, нужны до заседания с исторической телетрансляцией. Покормите отборным мясом, дайте чьей-нибудь крови, не жмитесь, есть же у вас доноры?»

Доставили четырёх отменных, выстроили почётным каре, сам на красном квадрате на вёртком барном стуле: засматривается в очи волкодавов, выбирает превосходного из отменных: «Не тот, не тот, не тот, этот: мы с ним друг дружке понравились с первого взгляда и сейчас будем, казалось бы, беспричинно обниматься, пуская расчувствованные слюни».

Успели до заседания струмента сласти. «Выдуйте же, — позволил, — нынче же всей дминистрацией самовар хлебного вина. Заслужили».

·
Было хохотно.

Уважил струмент сласти: сам вывел волкодава («Готовы старика на волкодава променять?» — «Нет». — «А придётся»), предпочтя длинный поводок короткому, чтобы, отпущенный, давал волкодаву волю дотягиваться до середины партера, и

без намордника, ибо исчерпывающий доклад и остроумные ответы, а не просто многозначительное молчание, глядя в опущенные глаза. Сначала — выступление: рычал яснее мёртвой тишины столько, сколько попросили из телевизора; стучал лапой, ломая трибуну за трибуной, пока не принесли сварную, её в гармошку не сложишь; дорычал на впечатляющей низкой ноте («Если проголосуете — не подведу», — показал проворными руками переводчик); сорвал овации. Потом — пятиминутка вопросов: на приятные отвечал, перевернувшись через голову и сделавшись точь-в-точь престижитатором Мессингом: призывал спрашивавшего к ноге, сбивал его с ног, укладывал в гроб, потея, распиливал гроб тупой лучковой пилой и под живой духовой оркестр, лабающий Шопена, предъявлял части залу, задирая у распиленных дам мини-юбки и показывая исподнее у депутатов; острый вопрос был один: «Почему вы, а не набухшая молоком грудь пассива № Сбились-Со-Счёта?», встречен сообразно: надев пахнувший «Шипром» намордник, Мессинг обернулся волкодавом, подскочил к любопытствующей бывшей проститутке, обнюхал её и пролаял дать ей леденец на палочке в эрегированной форме, а дорогие одежды остальных, до седьмого ряда партера, порвал на клочки и разметал по колонному залу дома союзов, связующих разноплеменцев.

·
Единогласно, и даже зачем-то сверх того.

Старый начальник был тут же аккуратно зарезан в тесном помещении для конвойных и отправлен малой катафалкнутой скоростью вдоль и поперёк р-р-родины для назидательного прощального показа массам.

Новый начальник ходил на банкете, припрыгивая на задних лапах, и искромётно шутил (через переводчика жестов и рыка): «Служу. Рад служить», лизал соблазнительной пахучей пастью лапки бывшим личным секретаршам, певицам песни «Валенки» и заблевавшим весь ближний космос космонавткам, через переводчика извиняясь в том, что не может произнести подобающий случаю комплимент, не может, но — дайте срок, «очень уж вы мне нравитесь».

А подъедать начал сразу же, безо всякого плана, в порыве безотчётных чувств, но всего семерых...

...тех, что руку «за» тянули без рвения, не порвав пиджак под мышкой.

Хотели талый мартовский сугроб, а поступили не по желанию.

Гешефт, цимес и нашестъ

Жили-были два гопника, и была у них подворотня, отданная им на кормление добрыми людьми, которым гопники — родня по таксону *leningradsky*, а значит достойны сэндвичей на завтрак, а не забивания камнями всем колхозом. Со временем подворотня стала оскудевать и кормила всё хуже: бутерброды ещё подавала, но только с хлебом: прозрачная хала, а на ней столь же тощий кусочек «Бородинского» в форме разжалованного в рядовые фельдмаршала Кутузова на коне, тянущем хворосту воз. Безжалостный голод — надвигался. А попать предупреждающие знаки «Осторожно: гопники» и «Не посещайте подворотню без особой нужды, там — два гопника» нельзя — таков уговор с милостивой таксономической роднёй. Даже не уговор, потому что какие могут быть уговоры с гопниками, но неукоснительное условие, иначе — неотвратимое наказание на выбор: высылка за 101-й км, где из гопников делают покрытые воском дощечки для письма, — или осиновый кол. Оба добровольных выбора не варианты, начальник.

И оседлали тогда гопники редкого прохожего, и поскакали на нём в газетку «Новости Брайля», и дали в ней за счёт вьючного прохожего объявление: «Вот чего, пацаны и глупые бабы: вы давайте, заглядывайте к нам в подворотню №666, милости просим, горячий чай не с сахарином, но рафинадом и баранки — всегда».

Чай-рафинад-баранки — приманка-кладезь: повалили люди и раскосые гости города. Сначала стояли, как в зоопарке, толпой на входе и пялились, показывая пальцами на изощрявшихся от близкого голода гопников, и чем искуснее изощрение, тем дальше вытягивается указательный перст, почти касается гопника, — а не укусишь: глупый долгий палец не из подворотни указывает — из хорошо вспаханной нейтральной полосы, засеваемой гопниками коноплём для личного офонарения в совсем уж тощие дни с нелепой добычей вроде густозубой расчёски с длинным мечтательным женским волосом цвета морской волны. Фетюки всматривались, а гопники выворачивались наизнанку: раскочегаривали самовар хромовым фельдмаршалским сапогом, ходили колесом и вприсядку, заголялись для показа выдающихся наколок и читали взхлёб Лермонтова, взхлёб на спор и по заказу бесплатных зрителей: они строчку из цитатника — а гопники продолжают её на память и без запиночки до конца строфы или даже стишка. «Да заходите же, сволочи, — кричат до срыва горла гопники на своём, чухонском и путунхуа. — Кипяток ошпаривающий, чай морковный, рафинад кубический, стакан гранёный, подстаканник из скорого «Воркута — Воркута», ложечка из Зимнего дворца, баранки круглые, а цена красная: золотой зуб. Проверьте, есть ли у вас золотые зубы, и — милости просим развлекаться».

После Лермонтова целыми страницами жители и гости наконец-то повадились захаживать к чаю, не жалея блескучих зубов. Жисть стала налаживаться; голод начал отступать; нашеств и безотчётное любопытство снова стали дороже драгметаллов и отнятых телефончиков.

Повалили, повалили добрые, открытые люди.

И вместе с ними настолько самарянские, которым вообще ничего не жалко: стоит один такой в подворотне весь заточками не до смерти исколотый и улыбается мартышкой до годика, готовой к съедению без наркоза и по частям, и кем — гостеприимными бонобо-сродниками, предлагающими прежде испить чаю. Золото не в зубе, но в слитке — при нём:

«Возьмите же, а чая не надо»; впрочем, пьёт, нахваливая: «Что-то я замёрз, согреться бы. Бараночки — хороши. Рафинад отменно кубичен». Впрочем, всё-таки не за так, не за золото в слитке и тычки заточками на радость гопникам:

«Давайте так, мальчики, — говорит: — Я окачу себя бензином на людной улице, вспыхну, а вы не дадите ментам и добрым людям меня потушить, хорошо?»

«Плохо, — возмущаются гопники. — Мы гопники, а не соучастники всякой герники».

«Помилуйте, — убеждает их странный человечек, — я же всё сам: сам обольюсь, сам запалю, сам сгорю и сам оставлю после себя исчерпывающую объяснительную, в которой вас как раз восхваляю».

«Не пойдёт, — отнекиваются гопники, — и цимес смутен, и гешефт не назван, и из гоп-гильдии попрут, ибо сказано в нашей скрижали: “Восхваливший тебя лукавит, потому как недостойн ты аллилуйщины, ибо гопник ты, а не розовый пупс, ещё не успевший покрыться угрями и натворить дел. Восхваливший тебя врёт как сивый мерин, а значит — хуже тебя, а значит — плюй на него, повалив его ногами наземь”, а также: “Поверивший в свою хорошесть предаёт гопничество, за что изгоняется из гильдии *саными тряпками, имея впредь неясные жизненные перспективы лоха-и-фраера”. Нет, дядя, увольте. И, кстати, имя-то ваше, дядя, каково?»

«Не суть, мальчики, — отвечает чудаческий человечек. — Имя моё узнаётся по делам моим, но вслух произносится только избранным, приёмным сыночком... Про, гм, цимес сейчас поведаю, а, гм, гешефт таков: сколько золота вам надо за названную услугу? самосвал? Вечером же пригоню и свалю в подворотне. Идёт, пацаны? Готовьте авоськи и пазухи».

«Не. Ни за что не променяю нашесть на презренное, — говорит Васька Кривой и режет человечка отточенным обрезком штыря, кажется, насмерть. — Простите, дядя. Это я так, от соблазна подальше».

«Кажется» — хорошее нашеслово: Васька Прямой, другой гопник, сказав: «Идёт, дядя», выхаживает человечка с заскоком до его отмашки: «Всё, Васенька, хватит; уж теперь-то я подниму

канистру и приму бензиновый душ», а заодно узнаёт цимес: «И станешь ты полуплотью от плоти моей, и называться будешь приёмным сыном, ибо бессеребряно выполнишь мою вздорную, не до конца понятную тебе бензиновую просьбу... По рукам, Васенька?»

«Уже сказал, дядя. Хоть и сдуру: ляпнул, а не воротишь. Ментов с добротами отгону, пока пылаете».

«Вот и славно. Все железки мира, выкрашенные под золото, — теперь твои. Растратить их невозможно, а тратить должно, и ты будешь дарить их щедрой рукой для искоренения гопников. Не забыл ещё Ваську Кривого, дружка своего? Как только сгорю — марш в подворотню с Кривым и Косым, его новым напарником, договариваться».

«А если пырнут?»

«А пырнут — так что же? Стерпишь».

«А это больно?»

«По-разному».

«А если насмерть?»

«И насмерть бывало».

«И что тогда?»

«Другого приёмыша найду».

«А золото, батя?»

«Зачем тебе тупое крашеное железо, если есть нож?»

Не смотри на меня, пожалуйста

Оставаясь один, я пою песни, пою вдвоём, аккомпанируя нам на детском металлофоне: я сажусь перед зеркалом, и мы с другим я затягиваем «Генри Ли». Я запеваю: ‘Get down, get down, little Henry Lee / And stay all night with me / You won’t find a girl in this damn world / That will compare with me / And the wind did howl and the wind did blow’. Потом припев, всегда вместе: ‘La la la la la / La la la la lee / A little bird lit down on Henry Lee’. Наконец, вступает он, другой я: ‘I can’t get down and

I won't get down / And stay all night with thee / For the girl I have in that merry green land / I love far better than thee / And the wind did howl and the wind did blow'. Мне кажется, он поёт лучше: у него чище голос, и он весь в пении, в вокале, пока я почти мычу, оголтело и немного растерянно стуча по металлическим пластинкам.

Когда нам надоедает, я спрашиваю его: «А хочешь вшестером?» Он кивает. Я ставлю перед собой под углом к первому зеркалу второе, специально купленное для музыкальных занятий. «Опять “Генри Ли”?» — спрашиваю я. «Любим её», — отвечают они, пятеро других я. «Тогда, — говорю я, взяв металлофонную пластмасску, как дирижёрскую палочку, — по моей команде: — Раз, два, три, четыре...» Петь вшестером, петь вшестером «Генри Ли» — вещь сказочная. «Секстет по телефону», — нелепо шутят они, вытирая пот со лба. Это... вообще говоря, идея: я звоню себе на городской телефон: «Привет, это я». — «А это я, привет». — «Хочешь попеть с приятными ребятами?» — «Очень». — «Тогда не клади трубку. По отмашке: раз, два, три, четыре...» «Генри Ли» вдвенадцатером — это самая особенная вещь, которую я когда-либо слышал. «А на разные голоса слабó?» — спрашивает кто-то из других я. «Дайте подумать... — говорю я. — Увы, прямо сейчас голосов, кажется, может быть только два: наш и изменённый из телефона. Попробуем?»

Наконец, мне и другим я становится стыдно. Мы вспоминаем, что за спиной, как только мы начали петь, появился Он. Он не лез нам на глаза, пока мы распевались; когда стало получаться и у некоторых из нас из глаз сами собой потекли слёзы, он, расчувствовавшись, стал щеглом, впорхнувшим в форточку и севшим мне на плечо. «Щегол? — подумал я, глядя на вопросительно вытянувшиеся лица других я. — Что за щегол? откуда? птица, впорхнувшая в дом... какой-то знак... но какой?» Я даже начал заранее пугаться предстоящего: ловли щегла, его выпроваживанья... как поступить с ним? поднести к форточке? снести в корзинке в парк, где выпустить? покормить ли его прежде?.. А это был Он. Значит, знак был хороший: ему понравилось, он

даже подсвистывал мне в правое ухо, но, когда я брался за металлофон, плечо моё пустело. Согласен, не инструмент плох, хотя он и 4-рублёвый.

«Спасибо, что не надо ловить глупую двусмысленную птицу», — сказал я Ему.

«Нам стыдно, — произнёс кто-то в правом зеркале голосом прилежного, но бестолкового ученика. — Мне стыдно, за других всё-таки не стóбит... Мы... Я был ужасен? У нас... у меня есть шанс? продолжать или бросить? расширять ли репертуар? что Вы думаете о первом опыте нашего двухголосия?»

Сзади возникла улыбающаяся мама. Она обняла меня, поцеловала в висок и помахала говорливому чуваку в правом зеркале. «Это Вы?» — спросил я. Мама взяла пластмассовые «стукалки» и виртуозно пробежалась ими по глуховатому и негромкому от рождения металлофону: «Генри Ли» звучал сочно и пронзительно; снова захотелось плакать. «Хочу научиться не хуже, — сказал я. — Буду лупасить по нему до пяти часов в день, закрывшись в ванне». Мама насмешливо улыбнулась. «Вот увидите...» Мама исчезла. То есть а капелла у нас получалось лучше? «Если так, давайте, что ли, споём без этой штуки, — обратился я к другим я. Ребята закивали. — До появления щегла? Раз, два, три, четыре...»

Щегол больше не залетал. Мы пели до ночи и уснули с полуоткрытыми ртами тут же, у зеркал: шесть голов склонились, будто по команде, склонились ещё раз и ещё ниже и неодоливей — и упали на свои столы. 'Get down, get down...' — по инерции шептали два-три рта.

Как же смешно Он изобразил семичасовой утренний будильник: пронзительно, скрипяще, назойливо долго. Вскочили все, стали толкаться — и вразной захохотали: «Да убери же второе зеркало! Да отойди же от первого!» Топот и сшибки прекратились. Я снова был один в комнате.

Я снова был один, а на письменном столе дымилась самая красивая чайная чашка. Из неё пила мама. «Чай? — спросил я. — Обжигающий? без варенья? до всего-всего?» За спиной что-то упало со страшным грохотом. Я присел от испуга и обернулся:

ничего там не падало. Или нет: это упал ответ «да; да, до всего-всего». ОК, хорошо, ладно, как скажете, Начальник.

Я плюхнулся за стол, макнул ручку в чернила, — и расплескал их над чистым листом, потому что что-то потащило меня за воротник на балкон махать руками, приседать, отжиматься — и скалолазить до крыши на случай ярких снегопадов и наводнений. Конечно же, со страховкой: верёвка была закреплена, но иногда вырывалась и просилась в тепло чужих квартир, которые собирались потом вместе и выговаривали мне, назидательно, со скорбными, опустошёнными лицами стоя в дверях. То, что они тоже могут и должны воспользоваться глупой замёрзшей одинокой верёвкой, их словно не касалось.

Наотжимался, налазил, насмотрелся с крыши на горизонт, обвздохавшись о его достижимости, разве что умственной, — и вернулся, решившись на протяжный жалобный звук. На стон. Зовущийся «размышлением у парадного подъезда».

Но прежде зачем-то (торкнуло, и) запел красиво-красиво, так, как умел только в детстве, когда меня брали под мышку и таскали по конкурсам, отчётным концертам и съездам. Севший на плечо щегол, слушал восхищённо... или уважительно? словом, не подпевал. В зеркале мелькнул большой палец.

После большого пальца я отважился.

«Не смотри на меня, пожалуйста, когда я один», — сказал я. «Отвернись, — сказал я, — пожалуйста». «Не следи, пожалуйста», — сказал я. «У меня, — сказал я, — руки опускаются». «Мне страшно сделать не так и не то», — сказал я. «Я засовываю палец в нос, — сказал я, — и тут же прячу его в карман, хотя пальцу место сейчас в носу, а не в кармане, а платки давно закончились». «Я кашляю, в кулаке остаётся кровь, и рядом появляется рыдающая мама. Это так больно и страшно», — сказал я. «Я начинаю пересчитывать последние деньги от сданных бутылок, и опять рядом возникает пригрюнившаяся мама, — сказал я и показал ему рукопись: — Вот тут многое, гм, прекрасно, но когда ты стоишь за спиной, я делаю глупые ошибки, забываю единственно нужные слова, и то прекрасное, что уже написано, кажется мне пошлым,

примитивным, никчёмным, и я мараю и рву, рву и мараю». «У Тебя, — сказал я, возвысив голос, — ЕСТЬ ТАКИЕ, ГМ, НЕПУТЁВЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ. Очень своеобразные. Которым, прости, претит неусыпное подглядывание...» Появившаяся передо мной мама решительно отрицательно трясёт головой. «Ладно, не “подглядывание”. Но Ты ведь понял, о чём я?» — сказал я. Мама кивнула. «Наконец, — сказал я, — я просто боюсь этого невидимого взгляда».

«Поэтому, пожалуйста, когда я не копаюсь в носу, дай мне свободу», — сказал я.

Метаморфозы и превращения

Здравствуйте. Если вы слышите это смущённое «здравствуйте», значит, у вас есть телефон (ну не в будке же вы морозитесь); значит, под вашу дверь подсунули газетку «Новости Брайля»; значит, огрубевшие подушечки ваших пальцев (хвала им, давно потерявшим хохломской узор, но не чувствительность) доводились до объявлений; значит, вы наткнулись на бессловесное (три металлических рубля за слово, название объявления бесплатно) частное бла-бла «Овидий или Апулей? Конечно же, Апулей, картонка ты дурильная!»; значит, что-то в вас шевельнулось и вы тренькнули по моему номеру.

Привет, это я, и это, простите, я дал это объявление, и это, простите великодушно, запись на автоответчике, потому что позвонят в лучшем случае человек семь, — и что же, мне семь раз говорить одно и то же? Ну нет. И, да, прослушивание до конца — обязательно. Прекращайте жевать, начинайте слушать. Фамилию мою вам знать необязательно; вот выйдет роман, тогда и. О народных сборах на издание романа будет объявлено, ждите с нетерпением, начав откладывать прямо сейчас. И — хватит курить: каждая выкуренная вами папироса — это лучшая страница, которой не досчитается роман.

Неужели вам нужен роман без кучи самых захватывающих страниц?

Бла-бла-бла. Иногда... почти всегда я противен сам себе настолько, что мечтаю об исчезновении. Не исчезновении из вашей (ха-ха-ха) или своей полужизни, но — улетучивании, о переставании быть обнаруженным. Вы звоните, а я не отвечаю; вы взламываете дверь топором, а меня нет; вы выбегаете с собакой по следу, а он обрывается самым загадочным образом, будто я взял и рассеялся в атмосфере. Запах подмышек? — даже собака не.

Каждый божий год только в нашем трёхгубернском плоскоземелье пропадают вовсе десятки тысяч человек, то есть целые малые и средние города. У вас отпуск, вы купили билет, вы взяли чемодан вещей и второй надувных шариков для мелкой родни, вы прибыли на единственную платформу, вы сошли с поезда — а вокруг никого, и такси стоят пустые; вы садитесь за руль такси и везёте себя на любимую улицу, удивляясь по дороге безлюдью; вы стучитесь в дорогую дверь, а за ней тишина; вы достаёте из чемодана топор, взламываете квартиру №34, второй подъезд, четвёртый этаж, вторая дверь слева, а там — никого. Город пропадавал постепенно, но к вашему приезду исчез весь, и ваши канули в числе первых, потому что ваши. Вы звоните нынешним своим, чтобы они поседели вслед за вами, а трубка не отвечает: свои тоже запропали. Потому что свои.

Это не беллетристика. Это факт. В том числе моей биографии: мой дядя самых честных правил однажды, как всегда, поддав, вышел из дому — и больше в него не вернулся (и ладно бы он был собакой, почувствовавшей в себе немалую уже опухоль... Всё, что он чувствовал в себе — это два стакана с менисковым портвейном). Ни один опрошенный нами живой (а до мёртвых мы ещё доберёмся) не видел его после девяти тридцати весёленького октябрьского утра зного года.

Хотите знать, куда они все каждый год раз — и? Значит, в этом Энске у вас были любимые или кровные родственники.

Или же вы ужасно любопытны, что чреватый грех, но только если вы кошка Варвара.

Овидий со своим знойным катастеризмом не катит, бабочки — рулят, Апулей — душка, умница и прозорливец: каждый год десятки тысяч только плоскоземельцев (сколько среди них Луциев? — не больше пары) превращаются — наконец-то я произнёс это жуткое слово — в. Никуда они не пропадают — они просто перерождаются. В кого? Луции, коих пара, не больше, конечно, в ослов, вероятно, для зоопарка, в самца и ту, которую вожделеет самец, ибо нет в наших снегах других ослов, кроме зоопарковых и цирковых (ослов — тьмы, но настоящих, оказывается, двое). Так в кого же? Да в кого только не.

Но сначала — о терминах в заголовке. *Метаморфоз* — это исчезновение человечка, временное или постоянное, сопровождающееся мгновенной перелицовкой исчезнувшего в то или иное существо, которое присуще ареалу обитания пропавшего. А превращение — это обратный *метаморфоз* из существа в человечка. *Метаморфоз* без превращения — явление распространённое, но не настолько, как *метаморфоз* с п.: по статистике, до двух третей из нескольких десятков тысяч ежегодно исчезающих плоскоземлячков, став тараканами, свиньями, крысами и пр., через некое — смутной продолжительности (от сущих секунд до нескольких месяцев) — время возвращаются, но ничего, увы, не рассказывают, словно дали подписку: понятно, что что-то утаивают, но ни вслух, ни на письме сказать об этом не в силах, и не только потому, что потеряли навыки речи, общения и письма... Ничего, НКВД их разговорит и распишет.

Вернувшиеся пропавшие относятся к настоящим человечкам: подлинным, таким как вы или я, которые пока не пропали (то есть давайте-ка не зарекаться... настоящесть, вероятно, не константа). А вот исчезнувшие с концами, скорее всего, не были настоящими ч., но — были ЛИЧИНКАМИ (помните, у самого глазастого из нас: «Давно, в поре ребяческой твоей, / Ты червячком мне пестреньким казалась / И ласково,

из-за одних сладостей, / Вокруг родной ты ветки увивалась»?), и исчезновение — это всего лишь вторая (без всякого промежуточного окукливания, всё-таки мы, настоящие ч. и их имитаторы, не насекомые) стадия их бытия, называемаяс ИМАГО: будучи личинками, они выглядели настоящими ч., не являясь таковыми (полагаю, мы чего-то такого опасались от таких исчезнувших, просто безответственно помалкивали), а потом, когда они наконец-то развились, когда пришло некое время, они стали собой: тараканами, свиньями, крысами, а двое даже ослами («Постой, постой, порвется пелена, / На Божий свет с улыбкою проглянешь, / И весела, и днем упоена» ты тыловую крысою предстанешь). Ну, свиньи так свиньи, туда им и дорога. Чего не скажешь об обратных превращениях.

Итак, в кого? Обращайте внимание на изменившиеся жесты и повадки существ, которые вас окружают. Приглядитесь, если ищете пропавшего, к ластящейся незнакомой собаке: согрейте её, обиходьте, наложите гипс на сломанную лапу, выставьте миску с той едой, которую любило ваше исчезнувшее солнышко-и-воробышек. Возможно, шкварки, семечки, рюмашка вернут вашего человечка раньше срока. Прикармливать ли тараканов и крыс? — Тут каждый решает сам.

Хотел бы я, став, разумеется, большой лохматой собакой сумрачного нрава, чтобы моя хорошая, пока я собака, кормила меня с руки домашним творогом? «Хотел бы» не то слово.

Причина исчезновений, в том числе исчезновений с возвращением типа «А вот и я» спустя мерзкий понедельник или наконец-то настоящий июль с настоящим загаром на берегу М.-реки под Звенигородом? Вообще говоря, одна: наше плоскоземелье, ибо там, где Земля... овальная, статистика на порядки менее жирная, чем у нас. Что, конечно, не отменяет цифры, относящиеся к личинкам. Что есть — то есть: некоторые таковы и на плоском и узком лбу, полузахваченном треугольником густой чёрной щетины, тянущемся с самого загровка, и на яйце с животом в 13 593,1656 версты. И если

они комары (но не изящные долгоножки), то, право же, лучше бы их со всей дури прихлопнуть.

Вас, конечно, интересует, кем обернулся мой дядя самых честных правил? Уверен, что космонавтом спешно и секретно улетевшего корабля. Куда юркнул кораблик? Вы правы, во вдруг открывшуюся червоточину.

Не забывайте оплачивать свою сверхпроводную телефонию и протирать (не пить!) денатурированным спиртом трубку. Они вам ещё пригодятся: я (не забывайте пролистывать «Новости Брайля» до объявлений, а в объявления вчитываться до мозолей на подушечках) зачем-то пишу как угорелый.

Минут семь

Представьте себе выкрашенное дорогушим вантаблэком деревянное каре-возвышение, разделённое сытным меловым следом, оставленным армейскими сапогами, которые хорошо потолклись в мелко молотой негашёной извести: размер следов — 46-й; в верхней части (если см. с высоты мушиного полёта) каре осмысленно разделено на два равных прямоугольника, внизу прямоугольник один, но на всю длину каре; иногда в воздухе следов кипелки больше, чем на чёрной сцене, и мы интерпретируем это только так и не иначе: кто-то в грязных сапогах пинал кого-то без сапог.

Это всё, что вам нужно знать заранее. Остальное разночтёте в процессе. А если вы слепы (а слепы теперь все), в нижнем прямоугольнике у каждого кресла есть приставное место, на котором обязан сидеть шептун (надеемся, ваше правое ухо не покусано и слышит).

С. С. АВТОР: Слова, которые сейчас начнут изливаться, чтобы висеть в воздухе, чтобы вы, когда всё закончится, могли

их потрогать — и обжечься или обрезать, — загадка даже для меня. Сегодня ночью я встал курнуть в форточку, чтобы потом прополоскать пасть водой, но воды не оказалось, зато всюду был портвейн, и он не мерещился, ибо я начал пригубливать, и с каждым глотком из меня вытекали слова. К счастью, русские. К счастью, ремингтонистка ещё, или уже, не спала, и слова сохранились. Вот они. Оркестр народных инструментов, туш.

С. С. ПОСТАНОВЩИК: Это ещё одна сложная пьеса, которую мы должны и обязаны осилить, чтобы Вишнёвый Сад, сожжённый Антоном Павловичем, был вырублен не напрасно. Наша балетно-цирковая труппа давно готова и ещё раз не подведёт. Спасибо С. С. Автору за переданную нам этим утром ремингтонограмму.

С. С. УЧИТЕЛЬ: Здравсьте, я учитель физической химии и химической физики мужской гимназии им. Боевых Отравляющих Веществ. Дорогие мальчики, написали ли вы, как я вчера просил, завещания? Все написали? Надо же, какое послушание. Сегодня мы на себе проверим действие газа «Циклон Б», основное вещество которого — прекрасно известный цианистый водород, который некоторые из вас пытались безуспешно синтезировать в домашних условиях.

Урок сегодня открытый. На нём присутствуют представители завода-изготовителя и, по видеосвязи, ваши трогательные родители. Чтобы все во всём ориентировались: в левой части сцены устроена так называемая газовая камера, чей внутренний интерьер идентичен грузовой кабине машины «Хлеб», но покататься на ней нельзя, ибо у нашего «Хлеба» ни колёс, ни шофера. Извините, всего сразу не успеешь.

Кто за то, чтобы каждый из вас пробыл в камере минут семь без противогаса? Вы уверены? Надо же, опять единогласно. Концентрация газа — божеская, подобранная мною после получения текста пьесы: все, на ком я успел проверить газ, а это стая дрозодил, как и некий штабс-капитан Зощенко, выживших после хлора и иприта времён Первой мировой, и маленькая такая лошадь (отнял в парке ради урока у двух

11-летних коммерсанток), не помню латинское название, не моя специальность, устоявшая не только под никотином, но и нашим снегом, чувствуют себя ничего так.

Прогноз: рвота (мух во всяком случае рвало) быстро излечивается хлестанием по посеревшим щекам; хлестание предоставят представители изготовителя. Кивают, значит, это правда. Возможный побочный эффект: сердечная недостаточность, но не острая, совсем не такая, когда тебе в драке воткнут нож в правое предсердие; и снова лечится на месте хлестанием по вдруг запавшим мордасам.

И последнее: одних я вас не пущу. Я, мальчики, пойду с вами, это мой святой учительский долг. С. С. Постановщик, приготовлены ли уже пакеты для обильной рвоты? ОК. То есть можно начинать. Не посетила ли хоть кого-нибудь хоть тень сомнения?

.
МАЛЬЧИКИ: Нет, нет, не посетила.

МАЛЬЧИК №1: А что нам за это будет?

.
С. С. УЧИТЕЛЬ: Очень приятный Сюрпризм. Говоря «очень приятный», я имею в виду Очень Приятный и Вот Так Сюрпризм. Настолько Очень Приятный и Вот Так, что я хотел бы сделать его не только вам, но и себе, но это ещё неточно, потому что не знаю, выживу ли в «Хлебе»; кроме того, сюрпризм такого рода не описан в уставе гимназии, а того, что в нём не описано, не существует. Впрочем... я тут подумал: если этого нет в УК, то какое же это преступление?

.
МАЛЬЧИКИ: Никакое.

.
С. С. АВТОР: Справа от газовой камеры располагается дверь, на которой написано «Публичный дом».

.
МАЛЬЧИК №2: Господи, да мы теперь каждый день будем сидеть в газовой камере по часу.

.
С. С. УЧИТЕЛЬ: Оркестр, туш.

С. С. АВТОР: Строем и вприпрыжку, весело толкаясь, мальчики заскакивают в «Хлеб»; С. С. Учитель заходит последним, в его руках бучарда.

МАЛЬЧИКИ: О учитель, зачем вам молоток для мяса?

С. С. УЧИТЕЛЬ: Для чистоты опыта: я не уверен, что выдержу все минут семь, и вот тогда, когда почувствую слабохарактерность, вломлю молотком по левой руке или коленке. Себе или тому, кто сдастся раньше меня. Минут семь — так минут семь. Засекайте время, пускайте газ.

С. С. АВТОР: Газ пошёл. Чтобы его было видно, газ смешали с новогодним конфетти. Через семь минут блёстки засыпят мальчиков и С. С. Учителя по пояс, полностью скрыв стол с самоваром и хлебом-солью, привинченный к полу посреди камеры.

Войдя в «Хлеб», мальчики перестали дышать, защемили носы бельевыми прищепками, а рты накрепко закрыв ладонями. Все они физкультурники и акселераты, для таких продержаться без дыхания минут семь раз плюнуть. А вот С. С. Учитель не сообразил, и его уже рвёт кровью, на что мальчики только смеются, хотя школьную форму придётся отдавать в чистку.

Я пересчитываю мальчиков по головам: одного нет. Я кричу мальчикам, чтобы нырнули в конфетти и поискали. Нырнули, поискали, нашли, не дышит, синий.

Я кричу, что минут семь прошло. Газ перекрывают.

Мальчики выбегают из камеры и принимаются играть в футбол. Никакой рвоты у юного поколения — это успех.

Представители изготовителя в погонах ни ниже подполковничьих выносят синего мальчика из «Хлеба» и спешно закапывают в сугробе.

На С. С. Учителя надевают кислородную маску, и он быстро розовеет, хотя лёгкие, конечно, придётся штопать: семь минут

рвоты кровью не совсем шутка. Спрашиваю его, не передумал ли он входить с мальчиками в дверь справа.

С. С. УЧИТЕЛЬ: Я в порядке, я в полном порядке, я в порядке; кроме того, я ни разу не был с женщиной.

С. С. АВТОР: Ваше дело, С. С. Учитель. Только, старый хрен, не забудьте почистить зубы и основательно переодеться.

МАЛЬЧИК №3: Когда мы пойдём в публичный дом?

МАЛЬЧИКИ: Действительно. Футбол — осточертел.

С. С. АВТОР: Минуту. Надо посмотреть, что творится с залом.

Чёрт, газ в божеской концентрации, вырвавшись из «Хлеба», хлынул в третий, нижний, прямоугольник, называемый «залом». Та половина зала, что справа, жива, весела, требует продолжения зрелища; а та, что слева, воеет о неожиданном приступе мигрени: мол, мы очень страдаем, мы почти потеряли сознание, чем таким вы травили мальчиков, а досталось нам. Говорю им, что помощь в пути, а пока ими займутся шептуны, которые умеют накладывать на раны пластырь и вправлять мозги. А на помощь шептунам придут представители изготовителя.

Милые представители изготовителя, начинайте хлестать страждущих по щекам... А вообще — скоро выветрится.

МАЛЬЧИКИ: Мы ждём.

С. С. АВТОР: Секунду... Всё, выветрилось, вижу это по левой половине: порозовела и уже отбивается от представителей изготовителя «Циклона Б». Запускайте пацанов.

Мальчиков и всё ещё скрюченного С. С. Учителя встречает Бандерша, она же директор женской гимназии им. Ведомства учреждений императрицы Марии. Она троекратно целует каждого посетителя и вручает ему памятный подарок:

Минут семь / Мы (спать, спать, по палатам)

упаковку неких средств, изящно перевязанную розовой ленточкой.

БАНДЕРША: Дорогие мальчики, прежде чем вы переступите порог нашего публичного дома им. А. М. Коллонтай, вы должны знать, что средний балл любой нашей девочки, с которой вам предстоит разделить ложе, существенно превышает $4\frac{1}{2}$, и все они виртуозно исполняют на фортепьяно пьесу композитора Дж. Кейджа «4'33''».

С. С. АВТОР: Оркестр, «4'33''», пожалуйста.

Оркестр народных инструментов наяривает пьесу композитора Дж. Кейджа «4'33''», и я кричу, чтобы никто даже кашлять не смел.

Мы (спать, спать, по палатам)

Мы такие хорошие, господа, мы такие отзывчивые. Но вот тромбон, величественная звукоизвлекающая труба с подвижной загогулиной, с которого он начал нашу окончательную выучку, нас не увлѣк — то есть увлѣк, но не так, как простая пионерская дудка по имени горн. Простым стадионным двуногим — простые, что ли, гудения? Наверное.

Тромбон, в который он дул на все лады, когда мы проявляли пусть ещё малую, но уже артельность, едва одевшись, ещё хромая после вчерашнего, выносясь, толкая друг друга (ко вдруг завернувшей во двор походной кухне, раздававшей огненную манную кашу в нашу тару, прогуливать своих четвероногих, тыча их в лебеду, чтобы жрали лебеду, а об ином даже не мечтали, рыть бесконечные спирали и лабиринты окопов, в которые стоит только упасть — монголо-татарскому танку ли, коннику ли, подносчику боевых стаграм ли, — и будешь плутать до скончания Солнца, срывая планы

чингис-ставки, курить в форточки и на балконах родины)... этот величавый инструмент с его монументальным звуком вечно всё путал: тромбону хотелось, чтобы мы достали из торб подозрные трубы и начали осмотр горизонта, который со вчерашнего дня то окрашивался в ордынские тона, то пропадал в тумане, — а мы выковыривали из подозрных труб увеличительные двояковыпуклые стёклышки и жгли ими насекомых по имени пожарники. А вчера мы, собачники и кошатники на выпасе, крича: «А нам, старая? Мы тоже сидим без копеечки», рванулись по сигналу тромбона в атаку на одинокую старушку с радиюлем, которая достала кошелёк, чтобы дать милостыню безногому в хаки, а потом, одолев бабку, — понеслись, преодолевая высокие конские препятствия, в магазин «Пойло». Но тут тромбон осёкся, проверещал другое, и нас окружили другие двуногие, которые стали ломать нам ноги голыми руками... Какая же это выучка? Это весёлый цирковой номер. Кто виноват, кто напутал? — замысловатый тромбон. Ну не мы же, собравшиеся в количестве, которое легко напоит нашими телами оскудевшую роту.

·
Он бы ещё на пианине играл свои заманухи.

·
Теперь всё не так: теперь артельность большая; теперь, когда он придумал горн, запанибратскую дудку с двумя, для рта сзади и ушей впереди, дырками; теперь, когда он защитил по ней диссер и поставил на ноги целую отрасль горн-промышленности... теперь мы стали ежечасным и повсеместным МЫ, непобедимой и всепобеждающей массой, которая по команде горна способна на любое неосмысленное артельное усилие, хоть плие, хоть ковыряние в носу.

Отныне гудят — все, и мы — неусыпная сила. И если дудка попросит совершить беззаветный подвиг падения с края Земли — мы не задумаемся. (Жаль, что такие сигналы ещё не сочинены, хотя массы готовы и насмешливо требуют: «Ну как же так, — пишем мы на заборах, — это же так просто. Где наши модесты петровичи мусоргские, мать нашу йети». Ужимку затирают, но мы всё равно допишемся.)

Всего же общевойсковых сигналов пока четыре: «Побудка», «Жрать», «Оправиться» и «Отбой».

«Побудка», или, на жаргоне, «кукареку», самый постылый сигнал: плевать сразу после него и бить в морду чуть погода хотят, кажется, все. Но нет, врёт «Телерадио Брайля» в рекламе 25-летней окопной службы, «только каждый семнадцатый, чьи прыщи ещё не ведают выдавливания, отцовская бритва — заросшего горла, а наливающаяся грудь — любимого прикосновения. Но когда этому каждому 17-му выдадут сапоги и ваксу, чтобы в сапогах отразился весь мир, всё изменится, и даже они будут вскакивать до “кукареку”, чтобы отразить вражескую атаку».

Чёрт, а о пианисте, который всю ночь играл в блиндаже высшего комсостава «Мурку», вы подумали? Он — 16-й, и он плюётся.

«Жрать» (или «чавк-чавк») и «Оправиться» («пс-с-с» и другое общеизвестное жаргонное звукоподражание) — самые души-не-чаемые: дудка выкрикивает: «Жрать», и мацуев, которому всю ночь доставались лишь объедки с комсоставного стола, в своём праве — даже посреди аккорда: достаёт жёнин «тормозок» и чавкает за милую душу, уплетая яйца вкрутую; дудка кричит: «Оправиться», и пианист, терпевший всю ночь, бежит до ветру, где его легко и насквозь ранят в оба бедра, и завтра можно играть всю ночь, не нажимая на педали. То же самое, разумеется, делает комсостав: горн наигрывает «чавк», — и командармы начинают закусывать; дудка дудит одно из двух «Оправиться», и адъютант на приплясывающих полусогнутых (ему тоже хочется, но он не имеет права) подносит командарму бутылку от шампанского или суповую кастриюлю.

«Отбой» (или «спать, спать, по палатам»; где-то здесь были вражеские ноты: насладитесь изяществом этой пьесы) — самый спорный звуковой пасс, из-за чего он отменён в окопах до окончательной победы над врагом и последующих лучших

времён. А вот глубоко в тылу пока встречается: вы увлечённо катитесь на дрезине, где-то позади маячит скорый, и надо бы уже стаскивать драндулет, — но тут звучит «Отбой», и вы неукоснительно засыпаете, на то и комендантский час. Не очень удобно, но в тылу привыкли.

Когда-то, когда окопы ещё не были такими лабиринтными и спиральными, «Отбой» мог не подаваться вовсе или подаваться в любое время, ибо подлый враг тоже знает ноты и слышал о горне (доходило до трагического: сымитировав сигнал ко сну, неприятель проникал в погружившиеся в младшего брата смерти окопы и издевательски перерезал сонную артерию у каждого рядового и матроса, ефрейтора и старшего матроса, младшего сержанта и старшины 2-й статьи, сержанта и старшины 1-й статьи, старшего сержанта и главного старшины, старшины и главного корабельного старшины, прапорщика и мичмана, младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана и капитан-лейтенанта, майора и капитана 3-го ранга, оберштурмбаннфюрера и кавторанга, полковника и каперанга, генерал-майора и контр-адмирала, генерал-лейтенанта и вице-адмирала, генерал-полковника и адмирала, генерала армии и адмирала флота, а также, ах, маршала).

Слава св. А. Невскому, теперь они не спят, и Мы, тыловые крысы, можем спать спокойно.

Расцеловал

В самом-самом недоступном низу в левом — красном — углу заветной стаканной залы, среди самых-самых первых (выкраденных бракованных) 17- и 19-гранных стаканов, спасённых предками. «Где-то там, кажется, были образа. Получается, что эти стаканы стояли под иконами, но кто бы эти хмурые доски теперь видел, если стеклоизделия, натурально, подпирают потолок», — выдохнул он.

Одному Б-гу известно, как он выцарапал эти стаканские раритеты, какие ходы ему пришлось прорывать... Слушая позвякивания и побряхтывания, я болтался в другой — единственной — комнате его квартиры; на склад музейных стаканов меня, разумеется, не пустили: «Вы будете только мешать. Я справлюсь. Я уже справлялся. Иногда я зарываюсь в нижние слои, словно трилобит, и это особое искусство, которое позволяет что-нибудь найти и выгодно продать. Коллекционеры, все, все до одного, сумасшедшие: платят деньги. На эти деньги я покупаю себе удовольствия...» — «Какие удовольствия?» Он промолчал: «Самые седые 17-гранники... Самые ценные 19-гранники... Сейчас я до вас доберусь, собаки... Надеюсь, вы порадуете дорогого гостя».

Стаканы дорогого гостя, впрочем, не волновали. Гость рассказывал себе сказки о том, во что они, возможно, завёрнуты: сказки о выброшенных типографских бумажках, и дай бог, чтобы это не были стародедовские газетки, газетки не моя страсть. В общем, если гость и трепетал, то слабенько, говоря словами начальника канцелярии графа Муравьёва в Вильне.

Мы пересеклись с ним случайно 25 мая, когда в каждом вагоне метро пели, пили и блевали под баян последнезвончики. Не протолкнуться, не перекричать. А он именно кричал (я понял это по насильственному положению губ), но, догадавшись, что ртом делу не поможешь, он заорал руками. Руки я тоже не замечал краем своего холодного рыбьего глаза; для чего их замечать, если увидимся через три дня, в день Доставки; я ведь даже имени его не знаю; он принёс — я забрал, я принёс — он забрал, — и разбежались. Но потом я смилоствился: в голову вдруг ударила какая-то влажная глупость: что если он хороший человек? что если он распереживается, если я «не увижу» его? пойдёт пятнами, скакнёт давлением... А про необычные стаканские обёртки, о которых он однажды рассказал, я даже не думал. Я забыл о них. Но он сразу же напомнил.

И мы поехали к нему.

«Не побили свои артефакты? не порвали мои инкунабулы?» — рассмеялся я пыльному, но довольному ему. «Ну что вы... — немного обиделся он. — А теперь мы будем дуть огненный чай из этих четырёх древних стаканов, спасённых от молота моим прадедом. Сами их развернёте — или я?» — «Ещё разобью». — «Тогда позвольте мне...»

Он распаковывал свою сколькототамгранную навуходоносорскую компотную посуду так, будто вскрывал капсулу с лепрозными чирьями, оставленную благодарным потомкам запасливым покойником: месяца три, заставляя меня вызывающе смотреть во все глаза на свои телефонные часы.

Потом он принёс нежный тёплый уют и прогладил старинную упаковочную бумагу, которая наконец-то избавилась от стаканов: «Вот. Любуйтесь. Теперь это ваше. Надеюсь, это ОНО».

ЭТОТ ПОЧЕРК Я УЗНАЛ СРАЗУ (!!!). Его почерк нельзя не узнать. Я не знаю ни одного человека, который не узнал бы этот почерк. Я почти не знаюсь с людьми, но двоих-троих терплю, и они, я знаю это наверняка, узнали бы его почерк — минут через семь после меня: я передал бы им эти бесценные «обёртки», небрежно бросив: «Мне тут принесли... Гляньте, что ли...», они вертели бы проглаженные листы минут семь, а потом всё-таки просияли бы: «Вам не кажется, что это его почерк?..» Нет, не кажется, потому что это его почерк.

Какое распрекрасное распросчастье, что это не были навуходоносорские газетки.

Что это были навуходоносорские гранки.

«Давайте же упьёмся вашим огнедышащим чаем из левого валенка, — вскричал я. — А потом напьёмся допьяна вашим раскалённым кофе из правого валенка». — «Понравились обёрточки? — лукаво расхохотался он, и я понял, какой это бесконечно прекрасный человек. — Что-то знакомое? Уж

не Евгений ли Абрамович? Почитаете?» — «Где лежат ваши достойнейшие стаканолитейные гранёные предки по мужской линии? Хочу каждый день носить на их могилы ландыши...» — «Ну уж прям ландыши... Их и ромашки восхитят. Знаю я одно поле, где...»

Нет, очень хороший человек.

Мы дули чай из 17-гранных стаканов, а кофе — из 19-гранных, и после каждого стакана я захлёбывался стихами, которые были на «обёртках». Я первым на этой маленькой, никому не нужной планете читал вселенские стихи, и мы пили напитки. Мы пили, и я декламировал, и покойный Сергей Юрьевич дважды завидовал мне из своего далёка: тому, как я читал, и тому, что я читал. Мы высосали самовар кофе и несколько кофейников чая; я ПЕРВЫМ В МИРЕ прочитал эти четыре НЕВИДАННЫЕ ВЕЩИ ровно сто раз. Нет, Сергей Юрьевич завидовал мне трижды, ибо я первым читал эти невозможно диковинные, никогда не существовавшие вещи так, как читал бы он, не Сергей Юрьевич, а — он. А как он читал, я даже не догадывался — а почему-то знал.

О сколько намъ открытій чудныхъ...

*О сколько намъ открытій чудныхъ,
Чреватых, чаемых, чудныхъ
Ещё неведомы в причудах
Вражды и дружбы кладовых
Природы. То она родная,
И строгость делит пополам
С «давай-ка сам», и, замирая,
«Ты отыскал, всё это вам!» —
Потом ликует. Но у мачех
Всегда вот так: то виноват, —
Коль в Нагасаки бьют лежащих,
То провинился: «Скорохват,
Ипр провонял насквозь горчицей!
Готовятъ просвъщенья духъ —*

Иль испускают нежилыцы
И нежилыцы его? Из двух
Второе, помогу, вернее.
И это мать? «И Опытъ [сынъ]
[Ошибокъ] трудныхъ, в ахинее
Голов мякинных и плешин,
Протёртых — мыслями? — да что вы:
Подушкой! — тонет!» Это мать?!
С такой природой люди вдовы —
И Ното нечего терять:
Всё сам: и сам себе могильщик,
И Геній [парадоксовъ другъ],
Сам добывает пар и в пищик
Спускает сам. Лишь от услуг
Судьбы гордец и открыватель
Не отвернётся: помощи!
[И Случай Богъ изобрѣтатель]
Играет с нами взапуски.

«Милый мой, — кричал я своему новому и единственному другу, — знаете ли вы, что планете было известно до обнаружения вами...» — «И вами, я настаиваю». — «...этого совершеннейшего из стихотворений? Ничего! Только это:

О сколько намъ открытій чудныхъ
Готовятъ просвѣщеня духъ
И Опытъ [сынъ] [ошибокъ] трудныхъ,
И Геній [парадоксовъ другъ]
[И Случай Богъ изобрѣтатель]

, причём “набело” поэт написал лишь две первые строчки, а всё остальное [особенно квадратнозаскобленное] — “наиболее популярная” версия интерпретаторов, работавших с его куцым черновиком!»

Одна черта руки моей...

Одна черта руки моей [, —]

Тебѣ довольно [,] другъ мой нѣжный [:]

Ты то сгораешь — и «успей, —
Зовёшь, — воспользоваться лежнем,
Всю выщупать везде, везде!
Иначе встану — и до ножек,
Хоть кланяйся в них: очень, де,
Дотронуться хочу, одёжек
Пока они не знают, а? —
Не доберёшься, опоздаешь.
Я огорчусь наверняка;
Неспешен будь и возбуждающ».

.....
Рука у п р я м а: ни к чему
Её просить; без понуканий
Проникнет под, лишь обниму
Тебя, мой друг, и тем незваней,
Безбрежнее чем ждёшь её;
И всё сама: сама наткнётся
На непостельное бельё
И с пылкостью землепроходца,
Как сказано, пробьётся под;
Сама отпрянет от извива
В восторге — и не сбережёт
Нетронутым неторопливо.

.....
То разревёшься: «Невтерпёж
Уж замуж. Только кто ж такую,
К которой прикоснись — и дрожь
Желанья губит подчистую,
Возьмёт! Одной черте руки...
А если не твоей?.. перечить
Посметь, мой нежный, помоги...
О как же стыдно. Вон!.. До встречи?

«А из этого волшебного любовного стихотворения, мой друг, — орал я упоённо, — планете известны только две черновые строчечки: “Одна черта руки моей / Тебѣ довольно другъ мой нѣжный”! Знаете ли вы, как называется этот листок

всемирно-литературного значения? — Гранки! На них полно его поправок! Это его рука, мой друг! Да знаете ли вы, чей это профиль? — Боже мой, он рисовал даже на гранках! — самый Княгини N!!»

Улыбка усть, улыбка взоровъ...

Улыбка усть, улыбка взоровъ.

«Улыбка губ, улыбка глаз», —

Изобразив гурьбу узоров

(Пожизненный мужской анфас,

Тюремный, снулый, но со вздором

Происходящего в глазах:

Пенсне на росном толстокором

Носу, надорванный размах

Кулачных уговоров, профиль

Уже чужой, уже в крови,

Желание московских кровель,

Ног спущенных болтанки и

К “жить дайте” самой точной рифмы),

Мой пра поправит, а волна,

Расставив в строчке тоны, ритмы,

Не доберётся ни одна.

«Знаете ли вы, дорогой друг, — неистовствовал я, — что в 1911 году милейший г-н Щёголев опубликовал строчку, всего одну строчку, вот эту дивную строчку: “Улыбка усть, улыбка взоровъ”? А это, оказывается, не дивная строчка, а целый шедевр!!!»

И я бы могъ...

И я бы могъ, [какъ шутъ на] перепутье,

на постном масле проглотивший речь,

не ремеслом гороховым, но сутью

свою, возвратив её, сберечь

себя, открыв ногою дверь в покои

государя, которому невмочь

не убивать друзей моих, «какое, —

спросив его, — имеете вы в ночь

*их вешать право, если днём, срамными
губами прожевав слова “картечь,
картечью эту сволочь”, с остальными
картечью вы разделались и сечь,
и бичевать, и драть всех неповинных
велели день и ночь средь дня и в згу,
в особенности на сороковины
и впредь?» И я бы могъ. Но не могу.*

«Господи, мой друг, какое счастье... наконец-то узнать святую и истинную правду, — кричал я. — Знаете ли вы, что обаятельное, но безмозглое — в том, что касается *этого* черновика, — еговедение попугайски талдычило: “...как шут на” ВИСЕЛИЦЕ? Ему (-ведению) вдруг показалось, что ”на виселице”. Дескать, он имел в виду “виселицу”, и пошли вы лесом, если думаете иное.

Оно годами это твердило. Десятилетиями. Один -вед за другим -ведом. Между тем, мой друг, в этом, гм, умозаключении по меньшей мере две глупости:

1. Отчего же ”как шут”-то? Пятеро повешенных декабристов были шутами? Поэт считал их шутами? И сам был шутом?

2. Но если всё-таки кто-то из пяти (или все они), или он сам, — шуты, шут, то: шутов вешали за ноги вниз головой.

То есть из множественного густого мыслительного бреда (поэт — шут; шутов — вешают; декабристы — шуты; и он мог бы висеть) -веды делали вывод: поэт — шут, и он бы мог, как шут, болтаться на виселице. Вот, будто бы, о чём наше Солнце хотело написать — да не решилось.

Между тем, мой друг, есть (была) Лидия Михайловна Лотман, которая тысячу лет назад показала очевидную незыблемость ”официальной” версии -ведов и -ведения.

А вот поди ж ты!!!!»

.

А потом я расцеловал его, моего нового лучшего друга.

Оказалось, что глаза у него, как и у поэта, зелёные: ближе к цвету осины, чем к цвету водяного кресса.

«Зелёные, — подумал я. — Совпадение, и какое хорошее. После такого совпадения можно всё». И осыпал его поцелуями. Даже не спросив, как его зовут.

Мне под пятьдесят, а я взял и учудил. Вернее, не я учудил и-вытворил, а он, поэт. Нет, правда: сначала сукин сын сделал это со мной (в губы, в губы), и только потом я сделал это со своим новым другом (в губы, в губы).

Адская сила его слов...

(Но мне же снились эти полубезумные летние побежки с кем-то вдвоём вдоль нехоженных ручьёв, всегда кончавшиеся сном в объятиях этого бегового ангелочка, которого я никак не мог узнать.)

За всё это счастье действительно можно убить.

Анонимное быдло

Приветик, я анонимное быдло. У меня огромная пенсия по потере девяти кормильцев-фронтовиков, на которую я могу заказать любого из вас. Никто не хочет? Посмотрите на меня так, чтобы мне не понравилось, — и будет сделано: я постучу в дверь соседа напротив, который, вернувшись с Куликовской битвы, делает это до сих пор легко и в удовольствие, он постучится в вашу дверь, вы обязательно спросите: «Кто там?», это пароль, он ответит: «По вашу душу», это отзыв, после чего начнётся священное: он попросит у вас саблю или флотский кортик, но перебьётся столовым ножом и будет гоняться с ним за вами сначала по вашему жилищу, потом по всей пятиэтажке; если загонит вас на крышу — вам придётся прыгать с зонтом, зонт он даст, если же вам повезёт, и вы улизнёте на улицу — загон продолжится там, и косые вам обзавидуются, потому что вы прыткий и в панике, а он немолод и невозмутим, и бег через средненашенскую возвышенность может длиться до нескольких лет (какой косой не мечтал бы об этом), однако

рано или поздно кто-нибудь из вас сдастся, вы упадёте без чувств и надежды, он отнимет у девочки велосипед, — и вы окажетесь в погребке рядом с ящиком «Мадам Клико», которым я расплачусь с ним, но прежде вам предстоит унижительное: он спустит вас в подпол, где покажет вам штабель ящиков с шампанским, и вы станете с чувством и расстановкой учить его квантовой физике, единственному предмету, которым он хотел бы овладеть, ибо его всегда пугала уклончивость этого смуглого мира, в котором стук в дверь означает одно из трёх: или это пришли за тобой, или это почтальон, или это ты пришёл за собой, но не нашёл ответа на вопрос «как открыть/сломать дверь, поглядеть себе в глаза и выжить?»; впрочем, вы вольны в любой момент отменить мой заказ, заплатив мне больше того, что получил он: полтора ящика, и я не буду против, если всё переменится, и вы, став «кем-то», а не почтальоном, постучите в его дверь и попросите не соль, но саблю, чтобы воткнуть её в его спину; впрочем, я волен, не отменяя свой заказ, не быть против вашего заказа, отчего мир только преисполнится красных красок.

У меня взвод детей, но девятерых уже нет: выбывшие мальчишки росли очень долго, до глубоких залысин, но так и не поняли, что впечатлительность — первый признак князя Мышкина, и идиотия вкупе с умственной отсталостью погнали их на фронт, чтобы бросаться под вражеские танки. Счёт до девяти — это всё, чему они научились к своим плешам, поэтому первенец лёг под первый танк, второй пацан — под второй, а девятый — под девятый. Я не жалею, что десятой получилась девочка, которая до сих пор играет в куклы, а не в «наших и фашистов», иначе бы их стало десять, и они до сих пор не знали бы кому под какой танк бросаться, а у меня не было бы огромной пенсии, на которую я могу заказать любого из вас, дорогие друзья по обществу анонимного быдла.

Я люблю спать летом в общем дворе, растянув гамак от дома к дому на уровне третьего этажа. Я приучил себя и других к домино на деньги, легко конвертируемые в портвейн. Я болеть за динама. Я не щупать баба, которая не может ответить любезностью. Я зорко смотреть, как вы на меня сейчас

смотреть. Я делать квас вёдрами и поить им дом, в котором живу, и никто не смеет мне отказать, так велика у людей жажда к простым напиткам из хороших рук. Я гонять собак, которые мне не нравятся, пока они не поймут, что лучше бы их вовсе не было. Когда я мерить рост своего детского пехотного взвода, он противиться, но я нашёлся: я подводил каждого потешного рядового к косяку для ежегодных отметок и стучал его головой до крови, чтобы потом протянуть от пола до кровавого следа измерительный прибор сантиметр. Я долго быть очень здоровый, но потом кто-то воткнул в мою спину нож, и я начать заикаться и ходить с красивой тростью, а моя правая нога плохо слушаться: она делает вид, что шагает вслед за левой, как любая правая нога, а сама делает выверт, вдруг резко сворачивая направо, будто бьёт по кожаному мячу внешней стороной стопы, после чего мяч закручивается и летит, вибрируя и меняя микронаправления; это происходит при каждом шаге, и я мог бы, если бы мне давали вовремя пас, быть полезным команде динама, если бы она пригласила меня в основной состав. Но всё это произошло тогда, когда я сказал: «Вынимайте, доктор. Вынимай нож, говорю, потому что мне надоело, что на его ручке висят дети, а не дети хлопают меня по спине, чтобы вогнать нож до упора, потому что кусочек лезвия так и не проник в меня. То есть сначала нож не мешать мне ни разу, и я чувствовать себя получше вашего, а на спине я никогда не любить спать. Теперь я думать, что не надо было его вынимать. Того, кто это сделать, я бы убить. Дóктора тоже, но он заплатил — и с тех пор прекрасно себя чувствует.

Что я делаю, чтобы перестать быть анонимной быдлой? Признаюсь: я воспитал в себе нечеловеческое терпение, пять лет назад перестав искать того, кто двадцать пять лет назад воткнул в меня нож. Ваши аплодисменты, пожалуйста. Теперь мне можно значок «Пять лет без жертв, даже случайных, и мата, даже при чужих женщинах и детях», если не считать однажды перебитых кому-то ног? Я его даже не знаю, но он сам напросился: вдруг выкнул, что он мент не в форме, и лом сам лёг в мою руку. Ни у кого нет таблеток? А то мне хочется плакать.

Приветтики, я женщина, мать пятнадцати детей, девять из которых легли под танки, и мне всё равно, чьи это были танки, а остальные — дебилы, и я анонимное патентованное быдло, которое не устаёт терпеть. Я воспитывалась в старинной дворянской семье, в которой читать и писать научаются, ещё толком не умея говорить; закончила Институт благородных девиц, который распределил меня преподавать древнегреческий и латинский в большую и дружную семью моего будущего мужа, промышленявшую на большой дороге со времён Соловья-разбойника. Мой будущий муж изнасиловал меня, едва посмотрев на меня: он пригласил меня в свою комнату, чтобы я научила его Сицилианской защите, но, проиграв семь партий из семи, надругался надо мной, после чего, как ни в чём не бывало, вышел к родителям и сказал: «Никогда не видел девственниц. Завтра же... или когда там... хочу жениться на этой училке». В тот же злополучный день он начал бить меня безо всякого повода. Я с детства вела дневник, в который записывала наблюдения за природой и мысли о прочитанных книгах. Но вот уже двадцать пять лет в нём нет ни берёзок, ни Бальмонта, одни лишь развёрнутые описания его изошрённых избиений меня и моих детей, сначала младенцев, а потом толстых, лысых и усатых мужиков, к несчастью уже полёгших под танками, и немых баб, до сих пор играющих в куклы. В следующем месяце в издательстве «Кирдык» выйдет роман «Мои избиения», героиня которого бьёт полусмертным боем человека из народа, к которому прониклась любовью с первого взгляда, с первого же дня их совместной жизни. Настоятельно рекомендую. Для членов нашего общества возможны скидки. Роман выходит под моим привычным писательским псевдонимом Мадам 30ХГСА. Всего за двадцать пять лет совместной жизни мой муж ударил меня 13 140 000 раз (то есть бил и бьёт каждую божью минуту, хотя ночью, конечно, не так часто) ногами и руками (правыми чаще), о стены и об пол, в лицо и спину, на людях и без, в синемá и на скачках, во время соития и принятия ванны, на берегу Чёрного моря и на берегу Белого моря...

В день венчания, когда он отвернулся, я тайно воткнула в его спину нож, надеясь положить конец своим мучениям, но он нашёл в себе силы взять меня в жёны и продолжить избиения. С ножом, торчащим из спины, он жил припеваючи до тех пор, пока не подросли дети, которым нравилось висеть на его наборной плексигласовой ручке. Потом нож зачем-то вынули, и он стал прихрамывать и заикаться, что несколько не помешало ему, избивая меня каждую минуту, орать мне на ухо свои любимые четыре быдлослова, которые он предпочитает 131 257 другим словам нашего языка. Спасибо за внимание.

Котя Оболенский (будущий деж.)

— **В прошлый раз**, когда мы ходили кормить сидельцев, чтобы воспитать в тебе милость к падшим, ты был неопрятен.

— Они растлители и насильники.

— Они смутьяны. У растлителей мы были ранее и с другой целью. И ты бросался в смутьянов тортом с парадным портретом государя императора верхом на лошади.

— Он был порезан на куски. Я бросался плешью, автоматом Калашникова, берцами и хвостом. Зачем вы испекли торт с таким кремовым изображением? Надо было испечь с жопой.

— Котя! От кого ты нахватался таких слов?

— От вас. Сами ими шепчетесь.

— Мы собирались накормить смутьянов величественным тортом, чтобы они через десерт и желудок преисполнились смирением и растрогали тебя. А ты небрежно и вызывающе швырялся.

— А они должны были поднимать. Лысые уакáри в зверинце поднимали и лапоплескали, бия себя по жопе.

— Котя! От кого ты нахватался таких слов?

— От вас. Сами ими шепчетесь. Я хотел, чтобы заговорщики перемазались плешью, автоматом, берцами и хвостом, чтобы я чуть не сдох от хохота, как это было с растлителями.

— У насильников мы надеялись привить тебе ненависть.

— Но гранаты, которыми я в них бросался, рассмешили меня до колик. Растворители ловили их в воздухе и бросали назад, я ловил их в воздухе и бросал обратно, они ловили их в воздухе и бросали назад, я ловил их в воздухе и бросал обратно, после чего гранаты наконец-то срабатывали, но делали это нелепо, потому что насильники сильны в счёте и успели попрятаться.

— Это было упущение.

— Зачем вы дали мне гранаты? Почему мы не взяли огнемёт?

— Не отвлекайся: мы говорим о давешнем посещении смутьянов.

— А хорошо, что они могли съесть государя и даже не поперхнуться?

— Парадный портрет государя императора.

— Вот именно.

— Мы не подумали.

— Сами, *ля, не подумали, а я неопрятен.

— Котя! От кого ты нахватался таких слов?

— От вас. Сами, маман, ими шепчетесь. Почему торт с парадным портретом не был накачан по небалауясь зельем, которое вызывает завороток кишок? Заговорщики начали бы откидываться, и я бы всплакнул. Вот вам и пощада к падшим. Но нет: вы испекли торт с парадным портретом оберштурмбаннфюрера, чтобы я, швыряясь плешью, автоматом Калашникова, берцами и хвостом, накормил смутьянов до диатеза на попках и умиления ими. Прихвостни вы. Нет бы положить в торт маленькую бомбу с часовым механизмом: смутьян проглатывает бомбу вместе с плешью, часики тикают, смутьян мечется, и я проникаюсь к нему искренним сочувствием, зная, что никакая рвота ему уже не поможет.

— Котя, ты же не скажешь о наших промашках доченьке государя?

— Государя императора? Может, и не скажу.

— Котя, умоляю. Зачем престолонаследнице знать о таких глупостях?

— Глупостях?

— Досадных оплошностях.

— Я подумаю.

— Котя, мы можем как-то исправить сложившуюся напряжённую ситуацию?

— А куда вы потащите меня сегодня?

— В «Матросскую тишину».

— Это чё?

— Котя! От кого ты нахватался таких слов?

— От вас. Сами ими шепчетесь.

— Это имеющее первостепенное значение узилище для предрезостных лазутчиков, диверсантов и их приспешников среди наших, посягающих на саму империю.

— Для?

— Цель экскурсии: профессиональная ориентация.

— Чё?

— Участие в допросе. Котя, ты сможешь сам допросить настоящего шпиона! Разумеется, не без помощи и в присутствии легендарного следователя Неймана-Хрипушина. В прошлом году ты говорил, что это единственный герой нашего времени, на которого ты хочешь быть похожим.

— Допустим. Смогу допросить... с пристрастием?

— Это как?

— Это по мордасам пощёчинами, пока не заболит рука.

— Какая рука?

— У меня правая. И только потом левая, но левой неудобно, не те рефлексы. Впрочем, надо попробовать. Где... например, конюший Иов?

— Зачем он тебе, Котя?

— Хочу попробовать левой, чтобы тов. майор не показывал на меня пальцем, не прыскал в кулак и не рассказал о моей неловкости своей дочке, которая растреплет всем.

— Котя!

— Что «Котя»? Если не отдадите мне для испытаний Иова, никуда не поеду.

— Котя, откуда в тебе это?

— От вас. Сами горничных руками по лицу бьёте. Сначала хук правой, потом джеб левой.

— Так за воровство же вкусных шоколадных конфет.

— А я буду за шпионаж.

— Наш Иов — шпион?!

— Возможно. Именно это мы сейчас и выясним, причём — одной левой. Не конюший — так конюх, не конюх — так кучер. Но начнём с конюшого. Ну же, маман... Нет, погодите. Сначала выставьте из дома его жену, семерых сыновей и трёх дочерей. И чтобы он видел эту драму; только держите его, пусть не мешает. На сборы изгоняемым — семь минут; что унесут в руках — то их; и — дайте им денег на электричку до Серпухова. Быстро. Это приказ.

— Котя!

— Что «Котя»? Десять лет «Котя». Гоните взашей его домашних и ведите сюда самого рыдающего.

(...)

— Здравствуйте, дядя Иов.

— Здравствуй, милый Котя. За что ты... вы меня так?

— Как «так»? И не вас, а пока только членов семьи изменника родины: всех этих Емим, Кассий и эту... язык сломаешь... Керенгаппух. Ничего-ничего, Серпухов — чудный город, а Курск, если вы будете упорствовать, более чем чудный. Не переживайте, их не ссадят злые контролёры: билеты мы им купим. Но не дальше Курска.

— Что вы хотите знать?

— Ду ю спик Пиндостáni? My dear groom, it is very important thing, study Pindostani, isn't it? Really, for the first time, sure, there may be some troubles, but everything be alright. На кого в Вашингтоне вы работаете?.. А глазёнки-то забегали, дядя Иов. А восплакать они не хотят? Ваших попёрли — а они сухие. А давайте-ка я надаю вам пощёчин левой рукой, чтобы вы поняли, что происходит... Раз пощёчина... два пощечина... не очень-то удобно, но правую побережём... три пощёчина... На какую разведку работаете, дядя Иов? Четыре пощечина... Молчите? — значит на пиндосскую. Ду ю спик Пиндостáni?

Нет? Пять пощёчина... Повторяйте: я не конюший, я изменник родины... Ваших уже посадили в электричку до жуткого Серпухова... А проказы вы не боитесь, дядя Иов? Маман! У нас тут есть кто-нибудь с проказой?

— Что ты такое говоришь, Котя!

— Лепрозные больные есть на примете? Ведите сюда, пусть обнимут дядю Иова, пусть поцелуют дядю Иова...

— Котя, какие ещё лепрозные!

— Заткнитесь, маман. Я слышал, дворецкий занемог, ковид, несите его сюда, пускай подышит на дядю Иова... Дядя Иов, ду ю спик Пиндостани?.. Шесть пощёчина... Семь пощёчина... Мне уже надоело, и рука неловкая... Всё, бросайте его в багажник, едем в «Матросскую» — да с подарочком.

Высотные и подъёмные

У падающих с высоты обычно большие семьи. Жёны, любовницы, дети, бастарды, отцы, матери, тёщи, соседи, собаки, хобби, читатели, зрители, слушатели, соглядатаи. Полуголодные, они готовы на всё, чтобы кормилец падал, и падал, и падал.

«Нам не важно, — ноют они, — почему ты упадёшь, подломил ли ты винно-водочный или переломил ломом конного мента вместе с кауркой (каурку — жалко; постарайся сберечь каурку), главное — пожалуйста, падай, получай жирные высотные — и корми ими нас, твою большую любящую семью. Твои кровиночки говорят: хотим в Royal College of Music, учиться пианине. А ты? — ты не падал уже несколько дней. Ждёшь, что они донесут своими отменными почерками, и тебя поволокут падать в смирительной? Ну и сволочь же ты, если ждёшь. Не ленись и не сдавайся, думай о детях законных и приبلудных».

А падающий просто переутомлён. А они наваливаются. А он пьёт таблетки от страха высоты, размачивая их в красном, и

которая протянулась к нему из окна указанного этажа, и положил в правый карман брюк...»

Там же, на крыше, преступнику перечисляются высотные, которые он тут же переводит семье. В этот момент — счастливый миг заработной платы — жёны и любовницы всплескивают руками и идут за покупками...

...не ведая, что с некоторых пор стали выплачиваться подъёмные за восхождение или подъём преступника на крышу. Сумма («Налом или на карточку?» — «Только налом!») не очень, но позволяет, залечив переломы и сделав переутомлённый вид, немного пожить в своё удовольствие: написать пару нетленных стихов, сводить детей и бастардов на каток, купить жене и любовницам мороженое — и купаться в лучах их нежности. Падающие называют это «отпуском».

Упавшее тело (уже не преступника, просто «тело», или «тело гражданина») отдаётся... даже не отдаётся — а без проблем подбирается извещёнными за минуту до прыжка заинтересованными лицами, ибо кому оно нужно после исполнения наказания? — только семье. И уж никак не вóронам: у этого падшего ангела ничего не выключешь, — полежав с минуту, чтобы отдышаться, ангел встаёт и обнимается с семьей. «Спасибо за вовремя перечисленную зарплату, любимый». — «Не за что, любимая. Это мой долг».

Вот такие теперь в городах заработки: воздух спёрт настолько, что в нём висят неподъёмные палаческие топоры, а преступники падают долго и упорно, и почти ничего, кроме не слишком смертельных переломов, им не делается. Воздух в городах таков, что он то и дело валится оземь крупными комьями и шматами, чтобы его собирали старушки и сдавали в пункты приёма за наличный як сѹм, называемый «пенсией».

На окраинах же и далее по всем весям УК исполняется по немилосердной старинке, согласно укоренившимся в веках местным традициям и привычкам: или вешают на месте, или

на месте же роняют в овраг плотным пулемётным огнём, ибо в весах скорость у пули всё еще близка к норме, и пуля почти не встречает на пути никаких помех — кроме, разумеется, тела. Но какая же это помеха...

Конечно же, на окраинах и в весах и высотные с подъёмными совсем другие.

М, П, Т и У

Когда ма-ма мо-ет ра-му, а Мика в кроличьей шубке и ушанке из угла комнаты таращится на неё во все глаза, чтобы потом написать акварелью пышную картину «Мама, намылив окно, задумывается и рисует указательным пальцем чёрный дульный пистолет, который стреляет прописным словом НЕНАВИЖУ в чей-то залысый висок», снизу кричат спянным гулким хором: «Ма-ма, па-дай, па-дай». Очнувшись, мама приветливо машет хору: «Здравствуйте». Тот тоже машет многократной правой рукой в казённой дворницкой варежке часового и здоровается: «Здрасьте, мама», но пришедшее ему на ум слово «падай», старательно выкрикиваемое по слогам, хору милее, чем добрососедский разговор с мойщицей окна в двухкомнатной квартире на 17-м этаже о житье-бытье и её предосудительном рисунке, на который хор засмотрелся в кавалерийские бинокли.

«Ма-ма, па-дай, па-дай, ну же».

На этом рассказ о маме, украшающий нередко мычащую красивую букву «М», обрывается, чтобы продолжиться на странице букваря, посвящённой пылкой и красивой букве «П»:

«Па-дай, па-дай, па-дай, ма-ма», — просит маму собравшаяся толпа, которая не понимает, как можно мыть на морозе окно неодетой и не поскользнуться на шаткой табуретке.

Возможно, толпа намеревается поймать маму, когда ловкость ей изменит и она наконец упадёт. Но, скорее всего, толпе любопытны картинки, которые мама, впав в задумчивость, рисует на мыльном окне: то пронзённое стрелой сердце, то чёрного ворона, прилетевшего за папой Мики, то густо обмотанный колючей проволокой заполярный край, то цингу, выламывающую папе Мики зубы, то пеллагру, которая бросает папу Мики под тачку, гружёную урановой рудой, то вот этот чёрный пистолет, палящий заострённым словом быстрее звука в смутно знакомый толпе залысый висок. Все они или заумны, или двусмысленны, а оттого возмутительны. Поэтому, если мама Мики внемлет хоровой просьбе и свалится, толпа, скорее всего, расступится, положившись на ватные сугробы.

«Па-дай, па-дай, па-дай, ма-ма».

На этом рассказ о маме, скрашивающий «П», обрывается — чтобы продолжиться на странице букваря, которая учит нас толковой и красивой букве «Т»:

«Тварь ты, ма-ма, — скандирует толпа внизу, — так и не у-па-ла». Чтобы согреться, застывшая до влажного кашля и синих носов толпа врывается в подъезд маминого дома, ломает лифт, чтобы не доставался никому, и несётся по лестнице на 17-й этаж, намереваясь попить по душам с мамой чаю. Спрятав Микку под кроватью, мама надевает кокошник, фартук со златоглавой москвой, концертные ботиночки с каблучками, подводит глаза, красит длинные трепещущие ресницы и губы сердечком, гимназически румянит щёки, достаёт поднос, ставит на него самовар, заварочный чайник, лучшие фарфоровые чашки, клубничное варенье в банках из-под маринованных огурцов, насыпает горку конфеток-бараночек и распахивает набухающую под ударами дверь. Толпа, не разуваясь, сметает маму вместе с угощениями, неся её к сияющему весенней чистотой окну. Первой из протараненной рамы со страницы нередко мычащей, но красивой буквы «М» выскакивает вращающийся самовар, за ним по воздуху растекается клубничное варенье, и только

потом спиной вперёд, словно с десятиметровой вышки, летит мама. Часть толпы, которую не вместил подъезд, ставит маме высокие оценки за изящество выпадения. Посторонний пёс грациозно слизывает с её каблучка рыхлый снег.

«Тварь ты, мама, так и не у-пала, а мы так про-си-ли».

На этом рассказ о маме, вдалбливающий в неоперившиеся головы букву «Т», прерывается до следующей страницы букваря, которая натаскивает нас на умствующую, но красивую «У»:

«У-ли-ки, ум-ни-ки и са-мо-у-прав-щи-ки, у вас е? — спрашивает следователь у толпы, выдавившей маму из её окна на 17-м этаже. — Потому что без у-лик, дезавуирующих светлый образ мамы, вы у меня сгниёте в застенках, сев если не за неумышленное, то за “хулиганку” точно. А с у-ли-ками — может, и оправдают, может, и поблагодарят». Допрос стоящей навывтяжку под тысячеваттной прожекторной лампой толпы длится несколько дней и ночей; все немного устали; следователь, похоже валится с ног, потому что снова и снова путает чьё-то ухо с пепельницей, гася в нём сигарету. Ни о каких у-ли-ках толпа не знает. Ей бы лечь вздремнуть, и она, наверное, выкрутилась бы, вдруг вспомнив не картинку, но то, как мама позорно сверкала в окне бёдрами, но спать ей не дают, и помыслы толпы плутают в своей незначительности и жалости к себе. Как всегда, спасение нагрянуло внезапно, когда его совсем не ждёшь: вместо того чтобы рассказывать, как было дело, заикающийся с того самого дня Мика описал происшедшее акварелью на бумаге, назвав картинку «Мама, намылив окно, задумывается и рисует указательным пальцем чёрный дульный пистолет, который стреляет прописным словом НЕНАВИЖУ в чей-то зальсый висок». «Вот это у-ли-ка», — возрадовался следователь, сразу узнавший изображённый зальсый висок. Перед толпой долго извинялись, а потом долго развозили её в машинах «Хлеб» по домам.

«Вот это у-ли-ка, ум-ни-ки».

В букваре есть и другие истории, связанные с возникновением и расцветом плоскоземельного режима на примере судьбы мамы, но других букв, кроме «М», «П», «Т» и «У», мы пока не знаем.

2-12

— **Служба 2-12**, отвечайте, и быстро :-), кто доставляет вам хлопоты?

— О господи, я ошибся, я хотел набрать 100.

— А набрали 2-12.

— Извините, можно я положу трубку?

— Нет, нельзя :-), не надо класть трубку. Кто вас настолько беспокоит, что вы, звоня в 100, умудрились пробиться в 2-12?

— Никто, честно никто, я ошибся и виноват, и это больше не повторится.

— Ничего подобного: пусть это повторяется и повторяется. Буду рада, если, положив трубку, когда мы закончим разговор на высокой ноте, вы тут же наберёте 2-12 и вновь попадёте на меня. А не на меня — так тем лучше... Опишите свою ситуацию, чтобы я выслала по вашему адресу (а он нам, без сомнения, известен: квартира 34, не так ли? улицу назвать?) оперативную группу, которая сегодня, в пятницу, 20 марта 2037 года, мотается по городу (а вызовов — многие тысячи) в симпатичном дизайнерском грузовичке с надписью «Срочная зубоврачебная помощь пережившим мороженого». Уже видели такой? Очень вместительная грузовая кабина, хотя и не скажешь. Говоря проще, какая сволочь вам опостылела, дорогой мой? Имя ваше назвать, чтобы вы перестали сомневаться в необходимости и своевременности этого звонка?

— Это ни к чему, я вам верю.

— Я жду, милый доставщик... Кстати, что в этих коробках, которые вы всё время таскаете к Бауманской?

— В коробках? в каких коробках?

— Не рассказывайте, это не моё дело. Я — 2-12, и я жду. Ну же, я, как дурочка, жду-у-у и не могу дожждаться.

— Хорошо, если вы настаиваете. Только сначала скажите мне время, — у меня по необъяснимой причине стали все часы.

— Ровно шесть часов утра; солнце, если оно вообще бывает, воссияет над золотыми куполами главного града родины через час и восемь минут.

— Спасибо. Я живу хорошо, каждый вечер после утомительной работы на ногах я хожу на любительские танцевальные вечера, вот уже несколько лет мы разучиваем томный и зажигательный танец бачата-сунсуаль, он парный, у меня прекрасные партнёрши, которые, несомненно, потеют, у них лишний вес, можно даже сказать, что они в некотором смысле коровы, танцую, когда мы сходимся, они не могут поддержать беседу ни на фене, ни на пиндосском, чтобы нас не понимали, потому что болтовня может затрагивать интимные стороны жизни, а это никому, кроме нас, знать ни к чему, от них пахнет луком, который они клали в котлеты, готовя обед, они хотят, чтобы я сводил их в ресторан быстрого питания, где мы, милый, могли бы достать принесённые с собой ароматные свечи и портвейн и уговорить бутылку, прежде чем нас прогонят, они славные, они никогда не желали мне плохого, потому что я хожу на вечерние танцы вот уже сто лет и до сих пор цел, то есть хожу, и хожу на своих двоих, и без всяких перерывов, разве что когда ковидовал, ломал ногу и уходил в совсем уж тяжёлый запой, а одну я даже провожал до дома, она какая-то дурочка, она квантовый механик, она всегда трещит о происхождении жизни, но не на Земле, а вообще, её беспокоит, одни ли мы во Вселенной, а о глупом большом взрыве и слушать не хочет, а я же, увы, только морщился, всё это мне не очень, лучше бы о рецептах новых коктейлей и приветствиях на экзотических языках, вот вы знаете, как надо встречать ненца? потому что я и бармен, и официант, но мне было с ней уютно, и я собирался подарить ей цветы гладиолусы и золотые шары, как же они называются...

— Рудбекия рассечённая?

— ...ага, их, а потом, через несколько лет, как советуют в отрывном календаре, встать на колени и предложить ей руку и сердце, не знаю, согласилась бы, её собака, выбегая из дому встречать её, облизывала мне открытые части тела, она сама открывала дверь, представляете? когда этой дурочки долго не было дома по делам квантовой механики, а они, с её слов, готовили какой-то умопомрачительный проект, то ли «Квантовая механика перерабатывает родину», то ли «Родина утилизирует квантовую механику», что-то такое, собака сама наливала себе воду и доставала из холодильника сосиски, а тут они стали пропадать, а я такой, что не могу без порядка и режима, который в шутку называю «прижим», у меня всё и все на месте, на своих полочках и по старым адресам, и вот дурочки моей нет уже 13 месяцев, я места себе не нахожу, другие танцуют не хуже, но не так, как она, но и другие сегодня отплясывают, а завтра не приходят, и послезавтра тоже, и вообще больше никогда, а ведь некоторые оставляли мне телефон, и я звоню, а мне говорят, что только что въехали в дом с этим телефоном, и всем довольны, спасибо, а сценическое имя, названное мною, первый раз слышат, до нас тут жили какие-то, простите, черножопые, но теперь, слава богу, не живут во всех смыслах этого библейского слова, смеются люди на том конце телефонного провода, со мной никто не хочет танцевать, я, знаете ли, не могу найти себе пару, пляшу один, но это красивый парный танец, мне предлагают хромоножку, про которую в раздевалке говорят, что она когда-то танцевала на коньках, но её партнёр пропал, выйдя с ледовой площадки, как испарился, и с тех пор она увлеклась бачатой, а ногу ей переломали, когда услышали, как она перечисляла по телефону тех, кто доставляет ей хлопоты, помогите мне, пожалуйста, и пусть моя хрупкая личная жизнь вернётся в старое русло. Не могли бы вы прямо сейчас отправить оперативную группу к Оберу, который беспокоит меня всё сильнее с каждой пропажей моих партнёрш по бачате?

— Спасибо за столь ценную и богатую информацию.

— Спасибо, что терпеливо выслушали.

— Это наша непростая работа. Звоните ещё, звоните заливистей, звоните чаще других. До новых встреч в телефонном проводе.

(...)

— Служба 100. Передаём сигналы точного времени на территории родины. Какой город или какая весь вас интересует?

— Я бы хотел рассказать вам об одной дорогой мне женщине, квантовом механике, от которой пахло луком, но в бачате ей не было равных...

Как?

Сил моих нет, подскажите как, спросил я в «Новостях Брайля» у народа в анонимном объявлении с подставным телефоном. И народ обзвонился, недоумённо, впрочем, выясняя, куда: «Куды, ну вот куды ты собрался делать ноги, если вся наша плоскость не только Бруно-опоясана, но и простреливается в зажаривающем свете прожекторов, а упасть в мягкие слоновьи отложения и выжить ещё никому не удавалось, во всяком случае ни письма, ни звонка, ни весточки от таких за всю многовековую Соловьёвскую песнь о сволочной старухе Прорухе...» Ну как куда? — Земля круглая, вертится, нудел я в их уши, впадая в крайности: истерику и пять основополагающих слов. Некоторым помогало (меня потом долго мутило, но: ставил себя в угол — и потихоньку отпускало). Посему — вот краткий перечень народных способов взять шляпу и, не прощаясь, выйти вон.

По грибы, ягоды, кедровые орешки и плотву, а потом месяца три по-пластунски в костюме ковыля.

Собственно, всё уже сказано, но тугодумов пожалею. Наша истинная мера длины/расстояний не вёрсты, а время: «месяца три по-пластунски» — это вёрст шестьдесят шесть по

неухоженным пересечённым краям: то горным, как бараны, то болотным, как хмырь, то вспаханным до земляного ядра авиабомбами, то заминированным «лепестками». До Брунозабора доползёт только сухопарый труп (даже не доползёт, а, став перекасти-полем, докатится). Выручил бы костюм хлебной лавки или шашлычной на колёсах, но такие там не водятся, то есть покажутся подозрительными... В общем, ковыль прекрасен, но не голодом. На этом я зачем-то несколько раз прослушал романс Петра Ильича «Разочарование».

А если мотылять, спрашивал я у ковыльных придумщиков. «Тетерев, туча, толстоголовка? — посмеивались они. — Ты совсем, что ли? Разжёвывать надо? В школу-то ходил? или умственно-отсталый? Мы не летаем». Да, точно. Поставил для успокоения романс Петра Ильича «Ты куда летишь?».

А если в костюме ковыля, но не одному, а бригадой: ковыльный обоз кормит и отходит, чтобы пополниться, потом нагоняет, задаёт корм и вновь отползает, спросил я. «Нет, — отшивали ковыльисты. — Если ковыля много, его пропалывают. Обычно на заре». Ясно, извините. Романс Петра Ильича «В ярком свете зари».

А если?.. «Ты даёшь, — ржали они. — Единственная река, изливающаяся с края Земли, называется Волка, и она наводнена сторожевыми субмаринами: малёк не проскользнёт, не то что Лохнесское чудовище. Я сам двадцать пять лет просидел в такой подлодке акустиком, вылавливая посторонние шумы». — «И зимой тоже, когда река встаёт?» — «Зимой особенно». — «Чёрт, а ведь я просто хотел сигануть с краевого обрыва вниз... Понял, сморозил». На этот случай у меня и Петра Ильича есть романс «Пускай зима».

Подкоп? —

«Вы хотели сказать “туннель”?» — «Неужели так долго? А если навалиться всем миром?» — «Каким-каким “миром”?» — «Ну, теми, у кого, как у меня, нет уже никаких сил». — «Многих знаете?» — «Ни одного. Но я вообще мало кого знаю...» — «Открою вам правду: народ рад, доволен и счастлив. Из его штанов пахнет такой удовлетворённостью, что хочется нюхать

Как?

и нюхать». Простите. Романс Петра Ильича «Чаровница» звучит, немного противореча моему собеседнику и моей печали.

·
«А может, как-то попросить, чтобы ОТТУДА рыли?» — «Как “попросить”? кого “попросить”? откуда “оттуда”?» — «В записочке с перелётной птичкой». — «Даже если допустить, что Земля круглая и вертится, то откуда вы знаете, что они вас поймут? Думаете, у них уже есть письменность? они знают наш язык?» — «Хорошо, не словами, так рисунком: приложить к голубю чертёж туннеля. Это-то мы можем?» — «Можем, но изобрели ли они уже кайло и лопаты, чтобы копать? Мне кажется, они там ещё с ветки не слезли. Не уверен, что хочу рыть к этим макакам туннель по чертежу...» Спасибо за содержательную дискуссию, товарищ. Душевную пустоту снял Йозеф Г. с вещицей «Семь последних слов Спасителя на кресте»; помните это место со словами «прости им, ибо не знают, что?»

·
Стать, гм, невидимым и прошмыгнуть?..
Звучит романс Петра Ильича «Слёзы».

·
Податься в пограницы.

Заикнувшись об этом, звонящие чесали (я слышал это) бороды и затылки. Чего вы чешетесь, спрашивал я, хорошая же идея: податься — и однажды под покровом ночи и метели слинять, нет? По-прежнему чесались, я это слышал. Долга песня, что ли? проверяют до савафовского колена? «Какого колена?» — Савафовского; лично у меня в роду после Саваофа одни пахари и водители кобылы, самое, наверное, то для погранца, нет? Чешутся. И — я меткий и не очень старый, подойду. Всё равно чешутся и, наконец, задают дикий вопрос: «А, прости, покакать на минном поле и не воспользоваться бумажкой смогёшь?» Теперь чешусь я, и тут выясняется, что погранцов на все двадцать пять лет службы... минируют. Тщательно и обильно. «Готов ли ты?» Готов, но не так же бессмысленно. Снова спас Йозеф Г., «Семь слов» на слишком долгом повторе на пафосном, но горестном слове «жажду».

Пробиться на самый верх, чтобы.

Все мои доброты, предлагавшие это, мялись, вздыхали, но раз за разом повторяли одно и то же: «Это единственный способ, чувак. Единственный. Другого нет. Один-единственный. Всего один. Один лишь. Но, право же, лучше сдохнуть, чем. Если только ты, чувак, не урод и не, *ля, геббельс. А ты, мы слышим это, ни то, ни другое». Тут я врубал уже помянутого Йозефа Г. на словах «в руки Твои предаю дух мой» и говорил им: вы добрые, вы хорошие, и вы правильно слышите; но, видите ли, всё зависит от того, куда вам (то есть мне) надо; а мне надо на волю и её воздух; ибо мне ещё многое надо написать; пусть я и пишу не для вас, а для вас из следующего зона, а посему сдохнуть — это выход, потому что написанное не дохнет, и моя Надежда Яковлевна, которая непременно дотянет до следующего зона, пробьёт всё написанное в каком-нибудь Детгизе в синей ледериновой обложке; но, знаете ли, хоть это и выход, сдохнуть я ещё успею.

На этом я брезгливо стянул с себя чёрные треники и провонявшую чёрную футболку, соскоблил скребком с окна толстый слой чёрной краски, лыжной палкой разбил болтающуюся на сквозняке 15-ваттную лампочку Яблочкова и долго плясал, как умел.

2042

...и долго плясал, как умел, подсматривая во вновь обретенное окно, за которым падали и, падая, всякий раз надеялись на то, что ветер подхватит их и куда-нибудь унесёт, но воздух был рыхлым, как снег внизу, и, когда хотел, бритвенно острым, чтобы, попав в лёгкие, терзать их, дабы падающий бросил глупые мечты и просто падал, зарабатывая деньги: три рубля бумажкой, если поломается необычно (руки с ногами, допустим, целы, а одно ребро пробило котлетное

тело насквозь), но выживет, и три рубля рублями — если, даже разбившись, подомнёт зажившуюся старуху, а лучше двух, судачивших об остром ветре, из-за которого детский кашель внуков делается красным.

(Здравствуйте, это Иван Бодхидхармов из «Новостей Брайля», и это моя последняя писанина на этой сволочной плоской Земле.)

Потом упросил пролетающего мимо гуся дать перьев на несколько стишков: «...потому что, редкая птица, они вот-вот хлынут. Видишь правую руку? Она дрожит, но не винно, а иначе, и это, милое длинношеее, верный признак».

Потом заказал в «Любой еде по вашему желанию» молодых каракатиц с карамелью и луком, «только чернильные мешочки не выбрасывайте, положите отдельно, они мне пригодятся», чтобы деликатесно и экзотично поужинать — и сделать графин настоящих перьевых чернил.

Потом, когда хлынуло и написалось провидческое

Ау (взял и делся)

Улетел в своём снаряде
на Луну и не возвратился.
Андрей Платонов

*Я приносил металл. Я строил с ним.
Тащил, слезясь, кровати из-под деток,
когда они рассматривали эдак
свой рыбий жир: «Треску искровеним
и оплодотворённых яйцеклеток
лишим судьбы пинком, без хиросим,*

*заметив хоть в Индийском, хоть в ведре;
сама б пилá печёночные клетки?!» —
молчали зло и абордажно детки,
а я тянул: «Не нота, детворе
на радость вытяну все панцирные сетки»,
но тоже в сторону — пугаясь, что в нутре,*

случись неловкость, будут синяки,
но, как и «едоки», осатанело, —
когда дитя себя почти продело
в дверь спальни, умолять «пренебреги
и не заметь», наверное, не дело.
Всё в дело шло: снаряду без цинги,

в довольстве витаминов Al и Fe,
лететь к Луне сподручней и скорее;
«...мне б чугуна и стали! Батарей?» —
он христарадил, я же в удалстве
переплывал вдоль рёки — енисеи:
волók из дома ложки в рукаве,

и батарей да, и с ЧПУ
токарно-фрезерный с задоринкой — одышкой
(свинцов он, что ли); снова был мальчишкой:
горел и ждал несбыточных цеу́.
Всё переплавлено в РАКЕТУ, чтобы вспышкой
завидной засветиться — и... ау:

он, чёрный, как и я, но попржат
повеселее: ни колá, ни сердца —
отобрала одна — хоть обессмерться,
ему тут что? — «Кромешный, а не рад».
Так он и не вернулся, взял и делся.
А я с ним строил. И так ждал назад.

Крылья (вырастут!)

Железо кончилось, и домны запретили,
собак гоняют во дворах; и нет бы стыть,
летя в снарядах в атмосферном иле
и выше, в пустоте, теряя нить
с отпетым чернозёмом, мёрзнут в домнах,
ныряя в омутистой дождевой
до дна, до дна, где у воды бездомной
из тверди неба мог бы быть покой —

но нет: семь поколений — и готовы,
 отбором вынянчены жабры, и́
 до синевы и заморозков сдобы
 на мягком места сапиенс-мальки,
 солдатиком иль рыбкой в конус бросив
 себя, пьянят уменьем свежих тел:
 не дышат, черти, днями! И молозив,
 и молока, и каш, и тарантелл
 (когда за обе) требуют в отместку,
 и Циолковский, One Small Step и серп Луны
 изводят беспросветную невестку:
 в пыли, ни-ни, висит, — уязвлены:
 а нет бы прыгать в сушь, а то и мимо;
 семь поколений, и Москва — Луна,
 Калуга — Марс цветут, неукротимы.
 Нет, КРЫЛЬЯ лучше жабр и чугуна.

Ну хорошо, не семь, пусть будет восемь.

, ставшее целым пятилетним, ха, планом.

Воздух, всё-таки воздух, пусть он и разэтакий, едва ли не одеревенелый и даже занозистый, всё-таки *мотыляние*, всё-таки *тетерев*, *туча* и *толстоголовка*, — вот главное для обретения свободы.

Нежели же мы не понастроим за пять лет ракет (раздуть никому не нужные домны) и не отрастим крылья (переборов повсеместные жабры), и не надуем для каждого вольного человека его личный воздушный шар.

Иначе и быть не может. Потому что Земля круглая и вертится, и это наша сила, а их — слабость, ибо не ведают, а значит — не будут ждать. Без воздуха ничего не получится:

*Ступая вверх, выучиваешь: низ
 отныне только птичий, низа нету,
 всё — низ и верх, всё — икс, а если где-то
 есть твёрдое и ты нашёлся близ,
 то это смерть. Устойчивое — смерть;
 изношенность, усталость — и ошибка:*

*на верное ступил — оно как липку
облупит. Смерть и есть земная твердь,
а качкий, валкий воздух — травести,
девчачество-мальчишество, свобода
в пространстве и нечаянность исхода,
и шанс какой. Ступай уже, лети.*

Потом четыре с лишним года я, вспомнив первую профессию, тайно чертил ракеты и воздушные шары, которые мы клепали и шили, шили и клепали, запускали и падали, падали (простите меня, братья кролики) и опять запускали в законных диких хвойных лесах, поставив на часах прокурорских медведей, добиваясь Р-скорости и Ш-высоты. Четыре с лишним года я изучал ветер, и мы узнали, когда шары, взлетев, наберут недосыгаемую для их пуль высоту.

Подбитые шары, несомненно, будут, и их будет слишком много, но мы готовы и к этому: четыре с лишним года, когда наступало наше реактивное лето, мы косили сено, чтобы в день Икс оно обрело черты стогов и стояло на каждых ста метрах полётного Ш-маршрута. Упавшие ОБЯЗАТЕЛЬНО упадут на копну, в этом мы уверены, в противном случае — ставили бы стога чаще. Не нужно чаще, показали наши расчёты, упадут-упадут в пышное с любовью заготовленное сено. Поужинают, отоспятся и выдвинутся к месту запуска нового шара.

В 2041-м в наших метельных краях удались яблоки, которые мы скупали и складировали, складировали и скупали, — без яблок нет полёта: упавшие прокормятся, стреляющие — не только будут крепко биты, но и тоже прокормятся, ибо давно уже сидят на одном хлебе (присылаемом матерями в посылках), потому что кротовая тушёнка не лезет в глотку, а залезши, очень хочет назад. Прокормятся — и, как показывают наши расчёты, начнут мазать из одного только «спасибо», из одной только благодарности и врождённых крупинок добра.

Все четыре с лишним года мы собирали семена разнообразных полезных и просто изящных мемориальных растений, которые прорастут из карманов упавших насовсем (пуля и/или мимо стога, вероятность чего низка, но, увы, не

нулевая): картошка — это прекрасно, но и айва великолепна, и облепиха замечательна, и лещина чудесна, и шелковица хороша, и барбарис славен, и боярышник благ, и алыча удивительна.

Четыре с лишним года мы точили из лучших древесных пород «шмайсеры», неотличимые от настоящих, и учились ими пользоваться так, чтобы стреляющие в нас не делали этого... или хотя бы задумались о последствиях. В день Икс хорошо слаженные отделения «деревянных автоматчиков» окружают места, из которых будут вестись обстрелы шаров, и мы ещё посмотрим, кто кого. Тем более что сверху, из шаров, вражеских стрелков будут поливать солнечными зайчиками. Так глупые зеркала наконец-то обрели смысл.

Прошло пять лет, и мальчишки Оэма превратились в 18-летних мужчин. Навык отца, к счастью, — передался. Оба рвутся в бой: затопление казарм, в которых обретаются будущие стрелки по шарам, — гарантировано. Спасибо им, что пошли против матерей и стали рядом с нами.

Воздуху поможет Земля, — без подкопов и даже туннелей тоже никак: пять долгих лет Т. Бяден, единственный оставшийся в живых однополчанин Ярека (Адика), которого он вывел на волю, роет землю, роет едва ли не носом, чтобы настала свобода.

Наконец, все мы окрылены, особенно те, кто остался с крыльями (спасибо мамам, спрятавшим их от послеродового скальпеля). Четыре с лишним года, — и это случилось. Жабры кончились, начинаются крылья, уже начались.

(Это, если забыли, всё ещё Иван Бодхидхармов, «Новости Брайля», который скоро закруглится, — и закруглится навсегда.)

Писать было некогда, но однажды стишки хлынули ещё раз, — и получилась этакая «История нашего воздухоплавания»:

Крыла отобрались

*¹Он выходил в окно. ²Её ловила мать
(когда отец, набив её карманы*

осенним полосатым, чтобы знать,
что с яблоками делается, званы
они потом к столу или да ну,
бросал её с дерев разнообразных
высот). ³Его швыряли в высоту
(расчувствовавшись). ¹Нарастанье гласных
случалось у него уже внизу:
у самого асфальта приходило:
окно не дверь, и шавка «догрызу, —
орала и мослы хвалила: — мило»;
не помогали гласные. ²Она
в «Падении плодов» потом читала
(когда её ловили), что хана
антоновке не факт, а идеала
естествоиспытания достичь
нельзя: увы, у яблонных деревьев
не те высоты. ³Сантименты — бич:
забыть, подбросив, что, едва зареяв,
дитя валится оземь, мудроно,
но можно, и его роняли столько
несчётных раз, что перочинным по
проклюнувшейся неизбежной дольке
что левого, что правого крыла
водить нельзя — дерёт ребёнок горло,
что больно и натура снизошла:
крыла отобрались, когда припёрло.

Скаляр и вектор

...и выходить в окно (а о дверях
писали словари, что устарели),
ныряя вниз, вернее, в снегирах,
в лазоревках в прозрачной акварели
ходить, ходить в воронах в лютый цвет
поток туч, воды, всегдашне было,
и, было, упали и в сюжет
«Антоновка за пазухой — грузило
для ангела немислимое, и
лежи теперь, летун, весь в переломах, —

и заживай скорей. Твои стрижи»
 привычно попада́ли. И несомых
 ветрами в небо вброшенных ребят
 прибавилось по горло; было б странно,
 когда бы поредело их: хотя́т
 передохнуть отцы от моноплана —
 закидывают в высь: «Ты полетай
 пока, потом вернись», а детки в стаях
 за пеночками в путь в Индокитай
 счастливо отправляются, в кита́ях
 вдруг ощущая, что у мамы грудь
 пора сосать до пустоты и счастья, —
 спешат назад, наткнувшись на «хлебнуть
 хочу без промедления»; участие
 спасает лишь от осыпанья: **шар**
 из пеночек их возвращает, школя:
 «Когда, птенец, ты вылупок, скаляр
 и вектор не “пустое, ма”, а доля».

Лучший способ полёта

...конечно, доля: увистать направо,
 завязнуть в горизонте слева, — а́
 когда-нибудь потом, над эльдорадо,
 осенним полосатым дорожа
 за пазухой, в карманах (нёс и нёсся
 на помощь, огибая пол-Земли:
 у них вовсю пеллагра, новый Ося
 не замечая вытекшей сопли,
 вот-вот начнёт произносить за корку
 единственные русские стихи),
 прицельно ахнешь яблоком вдогонку
 за человеком всякой чепухи
 (портянок, смерти, сала, сытной водки
 и бабы, раскоряченной под ним), —
 и ссыплешь горку яблок тем, кто ходки,
 уйдя в побег, который исполним
 за живостью собак, которым спится
 и видится порвать за сахарок,

и ветхостью бегущих, чьи копыта
откидываются наискосок
и не пылят, едва ли, вряд ли, ой ли
(зачем бросал? — не знаю, узнаю),
и падаешь, крича от ясной боли:
шарахнули в ответ по воробью
из всех стволов, накинулись на небо,
по курице ударили. Пером
подушечным куриным сыпля, хлеба,
нельзя не донести, и лишь потом,
карманы яблок выгрузив, как Осип,
увидев, возвращается, живёт,
лететь, держась за небо. Лучший способ
летать — собой кровавая небосвод.

А уже в 2042-м, на Святки, случилась последняя вещица:

Шарик сияющий, Юра считал, голубой,
Юра писал: «Голубой», он твердил: «Он голубый»,
Юру роняли: «Он плоский, ковыльный», — губой
гнул недобитой, сверкая улыбкой: «Пощупай:
морда разбита — а я неизменен: яйцо»,
шарик помятый с боков хороводит, и мамы
шепчут на ухо ребятам, вкусившим сосцов:
«Тело озёрно и лаяй порой, маммограммы,
впрочем, утешны: небесно, как с ёлки, и, круг
свой завершая, Земля расхохочется: “Спится!
Сладко как баиньки ты, мелюзга”, — и тук-тук:
вертится, надо вертеться и будет вертеться», **таблица**
координат неземных известит: карапуз
дремлет на ёлке в шарах на руках — и в кроватке,
Юра запомнит и зеркальцем вспыхнет, Иисус
сладко зевнёт, **ММО** выдыхая. Уж Святки.

В общем.

Мы готовы вот-вот взлететь на все лады в самые разные
стороны света.

Кто-то из нас станет спутником земли; кто-то будет кружить в небе до тех пор, пока внизу не сойдут от злобы с ума; кто-то упадёт, чтобы взлететь ещё и ещё раз, чтобы летать, пока живы двуногие внизу; кто-то упадёт, чтобы стать вкусной жареной картошкой.

Сегодня последний и главный день пятилетнего, только не смейтесь, плана. И у меня на него куча планов. Вчера у меня выпал последний передний зуб, и я не хочу попадаться вам на глаза. А встретимся — так и ладно: может быть, я буду дежурить около одного из стогов, отгоняя нежными словами (действительно нежными, такими, каких они никогда не слышали, даже от матерей) двуногих с вилами, или целиться из деревянного автомата, или, вымазавшись кровавым крысиным мясом, пойду против их овчарок, или буду слепить их зеркальцем из воздушного шара.

В любом случае я — зажился.

Это был Иван Бодхидхармов с последней заметкой для «Новостей Брайля». Прощайте.

Я в костюме тореро. На мне нелепая шляпа (мне кажется, это треуголка).

И я только что вышел вон.

*Влетает бомбою живой —
и **останавливает** время.*

*Земельный шарик под Москвой —
юла и кругл! — нарывом зрея,
ломает контур: суш и вод
букóлики и пасторали,
вписавшись в гриб поганый, под
поспешным снегом замирали
и западали, как глаза
ученика из головастых:
стекая с сочным злаком за
ионосферу в маске, ластах
(в Оке слонялся), он кричал:
«А всё же плоская! Доволен».
И поэтических начал
следы с таких-то колоколен
уже виднелись: «Сколько ж вас», —
большеголовый пальцем тыкал
в слонов под весью, где каркас
Земли остыл в разгар каникул.*

*Тут время, прекратившись, вновь
пошло. Пацан напрасно хныкал.
Но вот зачем, скажи, морковь.*

*На мартовском толе токуют тарелки:
— Оне налетят,
корпускулы в ряби с «вы так одиноки,
до постных цитат
о бегах на длинные», — как огрызнёмся?
коль скоро февраль,
и крыша в позёмке, и трубы с угаром
котлетной еды,
и те, что не смёрзли, особенно порознь,
но столь же тверды:
не пикнут опять — или снова ответят:
«У нас пастораль.*

*Колбаской на катере к матери скатертью
с вашим шестым
краснеющим флагами флотом, —
без вас подсластим».
Февраль-то? и чем же? пролезшим
за ним январём,
когда отбивает следить и у тех,
кто обязан следы
плести на снегах, потому что
утробы пусты
у зверя, который хватает за горло:
«Три шкуры сдерём*

*на ужин с пастушки»? Подъедены мышки.
И даже «пшена б!»
уже не звенит, оттого что не смех,
а, ей-богу, киднап.
(...)
Во-первых, наверно, не вертится.
А во-вторых —
и всякая сволочь не вправо! —
одни, безотцовщина мы.
И плоская, может; и строгости
круглой зимы.
А нам хорошо, и не надо нам
тут позывных.*

**Неровная Земля заране наша!
Взять плоскогорье, выровняв его
и прировняв к тому, чего нет глаже:
к хоть-шаром-покаати пространству, о
наш натиск обломавшему хребтины
высот для долговременной стрельбы
во русские народные картины
«Урлой незваной, кодлою, абь
сровнять с землёй, мы прёмся к вам, ненаши»
и «С вами — бох, а с нами наша мать,
безудерно рожаящая, в раже
фронтами украинскими рожать,
рожать, рожать, рожать во имя мяса
готовая», — *овно-вопрос, братан.
Тут плоско будет, братка, и чумазо,
вот почему мы сбережём фонтан
среди долины ровные сортиров
в одно очко. Увидь, брательник: тьмы
и тьмы на плоской суше, размундилив
себя, сидят и делают холмы.**

М.ГРИМ
Новости Брайля, роман
Исупов / «30 февраля», издатель
2024/2025





HCN



